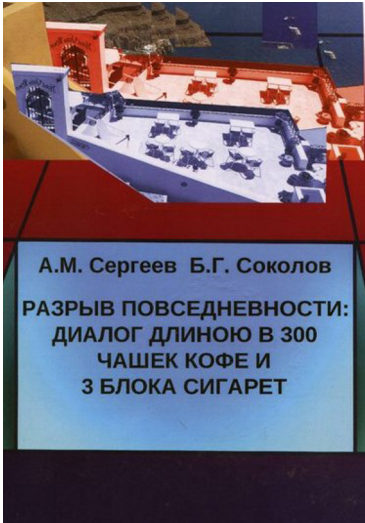




А.М. Сергеев Б.Г. Соколов

РАЗРЫВ ПОВСЕДНЕВНОСТИ:
ДИАЛОГ ДЛИНОЮ В 300
ЧАШЕК КОФЕ И
3 БЛОКА СИГАРЕТ

**Андрей М. Сергеев
Борис Г. Соколов**

Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11972131

*Сергеев А.М., Соколов Б.Г. Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока
сигарет.: «Алетейя»; СПб; 2015
ISBN 978-5-9906154-3-4*

Аннотация

Книга А.М. Сергеева и Б.Г. Соколова «Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет» представляет собой не столь уж часто встречающийся жанр диалога двух философов: диалога двух сознаний, концепций и идей, объединенных одними тематическими линиями. Общность тематических горизонтов не говорит о единодушии в понимании и осмыслении одних и тех же проблем. Скорее мы видим реальное сопряжение разных философских и идейных установок авторов, порой то перекликающихся и дополняющих друг друга разными аргументами, то противостоящих друг другу и спорящих между собой. Но это тем интересней, ибо читатель оказывается вовлеченным в топос мысли и круговорот разнообразных идейных построений. Подобная диалогичная формы текста позволяет пробудить собственное отношение читателя к рассматриваемым в книге темам: сознание, язык, жизнь, которые оказываются своеобразным каркасом диалога.

Содержание

Время мысли (вместо предисловия)	5
Сознание	8
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Андрей Сергеев, Борис Соколов

Разрыв повседневности. Диалог длиной в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет

Печатается по решению Ученого Совета Мурманского
государственного гуманитарного университета

Научные рецензенты: д.ф.н., проф. А.И. Виноградов, д.ф.н., проф.
В.П.Щербаков

© Сергеев А.М. 2015

©Соколов Б.Г. 2015

© «Алтейя» 2015

Время мысли (вместо предисловия)

Много, много времени утекло с того дня, как изрек Фалес:

Больше всего – пространство, ибо оно вмещает все.

Быстрее всего – мысль, ибо она бежит без остановки.

Мудрее всего – время, ибо оно обнаруживает все¹.

А потому и можно дополнить (upgrade) известное изречение античного мыслителя:

Больше всего – мысль, ибо она вмещает вмещающее все пространство.

Мудрее всего – мысль, ибо она обнаруживает и время.

Загадочнее всего – время мысли, ибо оно настает там и тогда, когда никто не знает...

Время мысли – это то, что вырастает изнутри и разрывает плотные редуты социального и повседневного... И время у мысли другое...

Время мысли – другое время, ибо другая мера времени... Я мерю время мысли выкуренной сигаретой, Андрей – чашкой кофе. Именно они отмеряют размер и концентрацию мысли... Время мысли должно быть изолировано от обыденного времени, выброшено-проброшено за пределы обычного времени, того времени, в которое погружена повседневность. А потому и название нашей общей книги именно таким образом обрисовывает топос и хронос мысли – это топос разрыва повседневности и хронос, отмеряемый выпитой чашкой кофе или выкуренной сигаретой... А потому и время выпитых 300 чашек кофе – это то время, за которое была написана часть общего диалога Андреем Сергеевым. Соответственно, именно три блока сигарет выкурил «Ваш покорный слуга», когда думал о написанном Андреем и писал свой текст.

Ни в коем случае это не реклама «нездорового» образа жизни. Ведь речь идет не о жизни, разрываемой по канонам повседневности, но о том довольно редком и довольно болезненном моменте рождения мысли. Поток повседневности должен пройти процедуру «#τομή», остановки, нигилизации. Мысль – а не та мыслительная жвачка, которой мы предаемся постоянно и повседневно, – уединенна, она сторонится путей пустых и прагматических разговоров... Она возникает в разрыве повседневности.

А потому и время у нее другое... Но все же тесно с «обыденным» временем связанное. Ибо мера повседневного времени также вырастает изнутри, а не определяется тем метрическим пространственным временем, с которым «беспечно нянчиться» современность... И хотя время мерить трудно, ибо оно мерит все, эта мера – нечто исходно наше, как и то время, которое мерится этим исходно нашим, но до этого нашего, до сокровенности нашего, еще нужно дойти...

...

...Длину можно мерить и сантиметрами, и парсеками, и локтями, и футами. Можно, как персонаж советского мультика, измерять длину в попугаях, слонах или змеях. Мера расстояния, впрочем, как времени – «вещь» условная и конвенциональная.

Можно – и переходами, когда расстояние от одного города до другого определяется через то время, которое было затрачено на путь. Именно так еще недавно измеряли расстояния наши предки. И эта мера, мера, которой мы, несмотря на то что современность властно навязывает нам метрическую меру, мерим поток нашей жизни. Мы в нашей повседневной

¹ Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. С. 103.

жизни довольно говорим, что мы живем в часе пути от работы, или когда собираемся путешествовать, не всегда задумываемся о том, сколько километров нам придется преодолеть на самолете или поезде, а довольствуемся тем, что до Мурманска часа полтора лета, а до Бангкока лететь без перекура аж одиннадцать часов. Пространство, которое мы обживаем, а не фиксируем через систему метрических координат на карте, расставляя по дороге верстовые или километровые отметки, мы мерим временем. Можно сказать, что нет пространства, но есть время, которое выстраивает пространство. И в этом смысле, та форма, которая, согласно И. Канту, «контролирует» наше временение, а именно – априорная форма внутреннего чувства, является исходной точкой нашего экзистирования. И в пространстве, и во времени...

Но само время, которым мы мерим и обживаем пространство, имеет свою меру, которая в современности выстраивается опять же в горизонте метрической системы. Конечно, спору нет, «метрическая», сконструированная не так давно и паразитирующая на «неметрической» секунде система, в точности равна тому временному интервалу, который на XIII Генеральной конференции по мерам и весам (1967) был определен как временной, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Может, конечно, кого-нибудь и восхитит или повергнет в трепет непредставимое для нормального сознания число периодов излучения цезия-133 (9192631770), но меня – не очень. Честно скажу, на «глазок» я не отличу 9192631770 периодов излучения цезия-133 от 9192631771 периодов излучения того же цезия-133. Наверное, это с легкостью может делать естественнонаучный ум, вооруженный современными гаджетами, но обычный человек, с трудом способный помножить двухзначные числа, такое сделать не может. Но дело даже не в том десятизначном числе, которое трудно себе наглядно и жизненно представить. Меня удивляет, скорее, другое: как быстро забывается исток, как просто оказывается перекодировать самое существенное в формат цифры. Ведь исток секунды другой – это не «научная считалка», а биение нашего сердца в нашей груди. Одна секунда – это удар сердца, это тот ритм, который стучит в нашей груди и отмеряет время проживаемой нами жизни. И как это быстро забылось! Теперь секунда – это 9192631771 периодов излучения цезия-133, и – баста...

Однако – и постоянно – мы проживаем время, не сильно оглядываясь на цифровую привязку. Мы не говорим: это было 670 000 секунд назад, но – это было еще до праздников, в позапрошлом году, в год рождения дочери или – как услышал в одном фильме – прошло уже 2 войны... И сколько бы ни убеждали нас, что Земля вращается вокруг Солнца, но для нас – и не думаю, что когда-нибудь это изменится, – Солнце встает над горизонтом и проходит свой круговой маршрут над «плоской тарелкой» Земли... И это происходит не только потому, что удобнее, что привыкли, что так все говорят, но, скорее, потому, что все, что связано со временем, мы проживаем внутри нас. Мы проживаем этот мир и проживаем его внутреннее, пусть в «результате» мы и получаем внешний мир. Мир конституируется «изнутри», ибо «изнутри» мы экзистуем. И иного нам не дано...

И из этого «изнутри», в котором «живет» наше, не метрическое, а соизмеряющееся с нашим дыханием и биением нашего сердца ритмом, вырастает другое временное измерение...

И, как ни «потешно» это, «увидеть» это внутреннее время, то время, в котором мы живем и в котором мы строим свой мир, – можно лишь тогда, когда мы говорим «Стоп» этому времени и, соответственно, этому миру. Лишь тогда, когда мы разрываем и останавливаем поток повседневного существования, может в предельной концентрации, отсекающей все лишнее, родиться мысль...

* * *

Несколько слов о нашей с Андреем Сергеевым книге: как она рождалась и почему выбрана такая форма «записи»...

Наша книга диалогична, конечно, в той мере, в какой может быть диалогичен текст. Книга задумывалась и «оформлялась» как диалог, диалог двух друзей, разделенных в повседневности теми километрами, которые отделяют Мурманск от Санкт-Петербурга. К счастью, современные технологии не только «кластеризуют» сознание, но они все же облегчают коммуникацию и дают новые возможности выстраивания текста, чем, собственно говоря, мы и воспользовались. В те не очень долгие встречи, когда было принято решение писать текст, мы обговорили возможный «маршрут» диалога и то, как мы будем использовать современные возможности. И об этом позвольте сказать несколько слов.

Исходный текст – это текст Андрея Сергеева. Именно он записан обычным шрифтом. То, что «взрывает» монологичность, в принципе, любого авторского текста и что написано курсивом, – это мои, Соколова Бориса, «вторжения» в «запись» мысли Андрея. А потому – мой текст, текст курсивом – вторичен, он «паразитирует» на ткани изначального текста. Выделенные в книге жирным курсивом слова, абзацы, иногда даже обрывки слов – это зоны «совместности», то пространство текста Андрея, где либо происходило вторжение в его мысль, либо те ментальные топосы, в которых начинался диалог. Конечно, отчасти наш общий текст – это два разных текста, два разных символических, биографических пласта, которые стоят за этими двумя разными авторами. Но это не два монолога, ибо я подхватывал, развивал, иногда дружески не соглашался с текстом Андрея Сергеева. В свою очередь, когда я по электронной почте отсылал то, что удавалось сделать, Андрею, он вносил определенные коррективы в свой текст: текст расширялся, дополнялся и исправлялся. В результате – очень надеюсь, что это так – получился более прихотливый по форме, смыслу и символической концентрации единый текст – текст нашей совместности и общего вопрошания о тех как вполне актуальных, так и немного «архаических» вопросах, которые волновали нас. Не знаю, насколько мы продвинулись в решении или обсуждении того, о чем писали, – судить не мне и не моему другу, Андрею Сергееву. Но то, что мы «гарантируем», – это наш диалог, это наша мысль... И этого, я думаю, не так уж мало для любой книги, для любого текста...

Борис Соколов

Сознание

Сознание всегда отлично от того, что сознается. Живя и действуя, мы связываемся с массой вещей, однако сознание оказывается **до и после** этих «вещей»: оно доводит нас до «вещей» и позволяет нам покидать их, чтобы иметь возможность перейти к иному. В этом отношении сознание можно понимать чистым действием; действием как таковым.

Есть и еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство. Собранность человека в жизни и жизнью отличается от его собранности в сознании, и сознанием. К жизни мы приспосабливаемся и прилаживаемся: сама жизнь, видимо, несет в себе характер приспособления; приспособления к чему бы то ни было; ко всему. С сознанием же нам приходится считаться: если нам доводится с ним сталкиваться, то мы его принимаем; принимаем его как силу, которая ведет себя всегда определенным образом и выражает себя определенным способом, т. е. только так и не иначе. В сознании есть некая строгость, которую мы готовы принять. Сознание – это уже готовая форма, и эта его «готовность» поражает. Она свела с ума не одного человека, когда он начинал размышлять о том, кто же его – сознание – так здорово «приготовил». Если же мы не считаемся с такой готовностью сознания и нас его законченность, неустрашимость и всеохватность не устраивают, то сознание исчезает. В этом случае оно исчезает для нас, но перед тем, кто его готов принять, оно

раскрывается

в своем тотальном отсутствии, ибо то, что и как мы проживаем в этом мире, говорит о том, что как раз с сознанием как таковым мы не встречаемся, встречаемся с делом, заботой, вещами, наконец, с теми, у кого, как и у нас, сознание раскрывается в его отсутствии. Но его раскрытие в его отсутствии отнюдь не означает то, что в своем отсутствии оно не присутствует. Сознание всегда присутствует. При-сут-ствует. Здесь необходима ремарка. Термин присутствие – перевод хайдеггеровского Dasein, предложенный Бибихиным, который мне симпатичен, прежде всего, потому, что в этом слове звучит не формальное нахождение рядом, а именно – проникающее внутрь, в суть происходящего или случающегося: «при-сут(ь) – ствие». Присутствие, прочитанное как проникновение в суть, причем проникающе-изменяющее саму суть и, одновременно, дарующее нам эту самую суть. Понятое таким образом присутствие (а не как формальное «нахождение в...»), на что нас ориентирует обыденное употребление данного слова) говорит о том, что оно имеет дело с сутью вещей, событий, людей и т. п. А теперь вопрос: Но что донесет до нас эту самую суть, как не сознание? Что, как не наше сознание, вообще схватит и осмыслит то, что перед нами предстает как мир вещей, людей, событий?

Но почему, наконец, мы употребляем термин «сознание»? Не душа, не разум, не мысль? Может быть, это происходит потому, что мы разучились думать о «душе», заменив «архаичный» титул более нейтральным и секуляризованным «сознанием»? Скорее всего, речь идет не столько о простом замещении одного слова другим, сколько о значительной корректировке нашего взгляда, нашей мысли, нашей, наконец, жизни. В самом деле, когда мы говорим о душе, то невольно включаем в наш разговор Бога, потустороннее, вечное, трансцендентное. Иначе обстоит дело, когда мы употребляем термин «сознание»: мы сразу же «присягаем» на верность современной модели объективности и научности...

И так, наверное, нам проще и, во всяком случае, нейтральнее. К тому же, вполне научно и современно. И, что самое грустное, вполне привычно. Но с чем мы в этом случае имеем дело, вполне научно и нейтрально вопрошая о том, что «обитает» в нашей голове? Думается, что чаще всего мы как раз встречаемся с отсутствием сознания, по крайней

мере, если дело сознания – породить мысль. Это значит, что с ним – с сознанием, порождающим мысль, – довольно редко бывает наша

встреча

с сознанием способна испугать, как и любая встреча человека с совершенно новым. Тут главное не то, чтобы не испугаться, а то, что надо попытаться продумать свой страх, т. е.

войти

скорее, погрузиться в сознание, в которое, в свою очередь, погружена мысль, которая – и тоже в свою очередь – погружена в то, о чем она, эта мысль, и в то, кто мыслит. Всегда, когда мы обращаемся, входим в проблему сознания, мы входим в «штопор» бесконечного круговорота отсылок, референций, отношений, различений... Мы не можем остановиться ни на чем однозначном, а потому, предвидя провал и катастрофу уже состоявшихся попыток найти твердую и не сдвигаемую точку опоры, ну хотя бы только надежду на незыблемость, мы отступаем... Или убеждаем себя, что вот оно, возжеленное «все ясно»... чтобы через мгновение почувствовать – и счастье, кто не застрял на придуманной им опоре, но продолжает движение вперед, – что все решенное ускользает и прячется. А потому мы боимся

войти

в него и располагаться в нем на основании своей мысли. Можно, конечно, говорить о некотором профессионализме в способах и формах решения этих вопросов, однако вопросы эти могут встать перед каждым человеком, и значит, каждый должен себя с ними как-то соотнести.

Вообще говоря, без **должного** человека нет. Другое дело, что каждый из нас в содержательном отношении понимает должное по-разному. Видимо, исток отношения человека к должному связывается им с тем, что он готов принять его как силу, превосходящую самого человека, и потому способную вызвать страх человека перед его новизной, перед отсутствием повторений. Это не отменяет возможности понимания некоторых алгоритмов действия такой силы, но также и не снимает понимания того, что сила эта раскрывается не только в этих алгоритмах, но и может не быть алгоритмизирована вовсе.

Связывая себя с сознанием, мы расстаемся с вещами и действиями, т. е. ослабляем связь с определенными ситуациями жизни, но обретаем – за счет этого – способность охвата ее (жизни) целостности. Будучи в сознании, мы выпадаем из ситуаций жизни; из жизненного пространства и времени, оказываясь в положении «между»: между одной и другой жизненными ситуациями, внутри которых мы пребываем, заметно ослабляя силу сознания или вообще оказываясь вне него. Иначе говоря, мы попадаем в странную и явно не загруженную жизненными реалиями ситуацию – в «паузу недеяния», в «теоретическую паузу», в «промежуточную ситуацию», в

«состояние подвешенности»

*и остановка привычного хода нашей жизни – изменение установки нашего сознания. В этом-то и вся проблема. Гуссерль говорит о рефлексивной установке, отличая ее от прямых актов: «... мы должны отличать **прямые** акты схватывания в восприятии, в воспоминании, высказывании, в оценке, в целеполагании и т. д. от рефлексивных, посредством*

которых, как схватывающих актов новой ступени, нам только и раскрываются сами прямые акты»². Рефлексия изменяет переживание: «Конечно, в результате этого (рефлексии — Б.С.) на место первоначального переживания становится, по существу, другое, и потому следует сказать, что рефлексия изменяет первоначальное переживание... Она существенно изменяет прежнее наивное переживание; ведь последнее утрачивает первоначальный модус **прямого** акта»³.

Что происходит в обычной жизни, не «вполне чуждой сознательности»? Даже если мы примем модус *Das Man* как тотальную и единственную характеристику несобственности нашего повседневного существования, превознесем до онтологического и единственного принципа наших поступков реализацию действия социальных машин или последствия тотальной дрессуры, то даже в этом случае мы «пользуемся» сознанием, ибо что-то и худо-бедно мыслим. Но подобное мышление наивно в том отношении, что в рамках его мы не занимаем позицию тематизации нашей собственной позиции (т. е. отрефлексированным, ставшим предельно ясным для нас самих образом), наших действий, не смотрим отрефлексированным образом на себя со стороны.

Конечно, все не так просто, как представлялось тому же Гуссерлю, когда он отличал прямой акт от рефлексивного, ибо в нетематизированном виде мы все же некоторым образом наблюдаем за собой, за своими мыслями, за своими поступками и т. п. со стороны: данные психологии и прихотливый анализ фигуры Другого, постоянно смотрящего на нас, что стало предметом довольно тонкого анализа в «Бытие и Ничто» Сартра, показывают, что в данном случае речь идет о сильном (а потому, в конечном счете, ложном) упрощении реального обстояния дел. Но даже при том, что взгляд со стороны в некотором роде сопровождает нас всю нашу жизнь, все же, как правило, в тематическом горизонте наше действие, акт, мысль, желание не пребывают. Мы как бы отдаемся стихии этого акта. И вот тебе на: рефлексия. Она вырывает нас из объятия «привычного скольжения» по акту, мысли, действию и ставит в рефлексивную позицию наблюдающего. Мы не просто удерживаем какой-либо «акт» ощущения, мысли, действия, но рассматриваем его со стороны. И в этом отношении рефлексия изменяет первичную наивную отданность стихии данного акта на рефлексивную позицию отстранения от этого акта.

А что происходит тогда, когда мы полагаем уже в самом акте рефлексии само не просто какое-нибудь наше действие, мысль, ощущение, а само сознание? Да не просто сознание, а сознание вместе с той «мешаниной» и иногда хаосом обрывков мыслей, намерений, желаний, сомнений, уверенности и т. п., которые раскрашивают любое «движение» нашего сознания? Во-первых, как всякая рефлексия, подобная установка в отношении сознания его, сознание, изменяет. Во-вторых, не забудем, что сознание (и не случайно сам титул сознания отражает не только совместность со знанием, но, через эту совместность, отделенность) — это уже «отчасти» рефлексивный акт. В этом рефлексивном отношении к сознанию, которое изменяет, а значит, изначально усложняет наш анализ сознания, которое уже предстает перед нами в «очищенном» и «отстраненном» от реальной жизни сознания виде, добавляется тот, кто смотрит на это сознание, причем — весь «комизм указанной ситуации» — с помощью этого самого неочищенного, нерефлексивного сознания. Структура при самом предельном упрощении следующая: живое сознание переводится в рефлексивный вид живым сознанием, которое, при этом, осознает, что оно имеет дело с измененной посредством рефлексии формой этого сознания. И к тому же — все это осуществляет довольно сомнительный, с точки зрения «научной» (особенно естественно-научной) вменяемости, субъект познания, индивид в обоих своих ипостасях: как реальный живой индивид и

² Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: «Наука», «Ювента», 1998. С. 97.

³ Там же. С.98.

как трансцендентальный субъект. Начало – скажем прямо – удручающее в своей сложности и прихотливости: никакой надежды на картезианскую ясность нет, и прояснить то, что происходит, когда «работает сознание», т. е. когда мы мыслим, когда мы ощущаем,

когда переживаем

приобщение к сознанию и фактически сталкиваемся с усилением себя благодаря собранности себя в сознании.

Речь идет о сознательном действии (процедуре), благодаря которому начинаем видеть не **факты жизни**, а **факты сознания**, позволяющем блокировать генетические и детерминистические линии связи явлений с жизнью и дающем возможность рассматривать их как таковые, т. е. онтологически.

Приобщаясь к фактам сознания, человек склонен переживать душевный подъем, так как полагает, что ему – вместе с сознанием – всё «по плечу». Следует, правда, оговориться. Выявить начальный факт сознания своей жизни трудно по причине того, что если человек и осознает нечто в качестве факта сознания, то уже оказывается присутствующим в сознании в целом, т. е. уже как-то в нем «расположенным» и в него «вместившимся». Однако человек может наделить один из значимых для него фактов изначальными полномочиями, хотя понятно, что это только мифологическое построение, в рамках которого реален не факт жизни, а

факт сознания

– это уже установка, рефлексивная позиция. «Я», здесь и сейчас, обращаюсь лишь к тому, что полагаю как несомненное. Но то несомненное, которое признается этой самой рефлексивной позицией. Круговой маршрут: рефлексивная установка «порождает» факт сознания, который, в свою очередь, только в этой рефлексивной установке и может иметь место. Исток этой рефлексивной асаны предельно прозрачен: Декарт и, более современная версия, Гуссерль. Иными словами, это наши новоевропейские правила игры. «Расплата» за эту рефлексивную установку также довольно прозрачна: изоляция (помещение в скобки) реальности и бесконечная, изматывающая авантюра поиска и удостоверения этой изначально репрессированной реальности.

Но что мы имеем в «позитиве»? – Факт. Факт сознания. Но этот факт – всего лишь факт представления нашего сознания, которое всегда сингулярно, а потому всегда сомнительно-одинокое для самой новоевропейской научной установки. Как, впрочем, и то, что мы именуем фактом – увы, запущенная машина сомнения не щадит и факт, и уж тем более факт сознания. Ведь для современного естественно-научного дискурса апелляция к факту сознания – сомнительная процедура верификации. Можно апеллировать к факту, который – но об этом мало кто думает – всегда является лишь фактом нашего сознания. Он становится фактом не потому, что верифицирует, противостоит сознанию, упорствуя в своем бытийствовании в противовес «эфемерности» и «неуловимости» процессов сознания, не вопреки ему, но как раз ему, сознанию

благодаря

раздвижению границ происходящего, оказываясь изъятыми из жизненных ситуаций самим попаданием в сознание, мы устанавливаем место и время своей мысли, так же как место и время себя в качестве мыслящих. Это – место и время сознания, потенциально обладающие всей его силой, из которой человек – в случае его «равенства» сознанию – может

исходить в понимании своей жизни, отстраняясь от ее случаев и обстоятельств. «Помещаясь» в сознание и «размещаясь» в нем, мы оказываемся всецело предоставленными себе и можем теперь реагировать на самих себя и отзываться на **свое**.

Все это важно потому, что сама жизнь во всей целостности без нас быть собранной не способна. К тому же, если человек не живет **своим** — не важно, по причине боязни или не понимая этого, — он занят **чужим** и непременно будет искать с ним встречи и им в большей степени заниматься. Чужое будет выступать как свое, ведь себя он не знает.

Такая теоретическая пауза, обретаемая в жизни путем нашего попадания в сознание, может длиться столько, насколько у нас хватает сил, ибо наше продвижение в сознании не предопределяется жизнью, а полностью зависит от нас. Не трудно также понять, что попадание в сознание сугубо индивидуально и сообщать другим о содержании такой паузы

трудно

а может быть, и невозможно — в режиме несомненности и адекватности — сообщить не только о своей паузе, но и о том, что ты чувствуешь, наконец, о том, что говоришь, и быть уверенным во взаимности, в том, что адресат послания тебя понял так, как понял это послание ты сам. То, что он понял, — не проблема, ибо понимают все, а непонимание — лишь «вид» понимания. Проблема — в той адекватной взаимности, которая обеспечивает совместность попадания в смысл, в значение. И здесь разворачивается мистика. Иначе и не скажешь: мистика понимания. Ибо если строго и однозначно подходить к процедуре понимания другим сказанного тобой, то его, понимания, быть вообще не должно. Нет, конечно: если бы мы, говоря, мысля, чувствуя, использовали бы ту модель, которая называется денотацией, вопросов вообще бы не было. Денотат: когда означающее четко и однозначно связано с означаемым. Все было бы как у Лейбница с его идеальным языком: просто подсчитали бы. Но мы погружены в коннотативный по своему смыслу символизм, когда любое сказанное, помысленное, прочувствованное всегда сдвигается через культурные, личностные, национальные, биографические и т. п. коннотативные ссылки от жесткости означивания к отражению «бесконечной» контекстуальности. А потому как я, 50-летний профессор, совок по «формату» моего сознания, с определенной биографией, предпочтениями, со своей «цветовой дифференциацией штанов» (вспомним советский кинофильм «Кин-дза-дза»), могу понять чуждый мне символизм, который неизбежно выстраивается через коннотативность смысла, не только культурно и языково далекого мне вьетнамца, но и — проблема отцов и детей — своей внучки, с малых лет держащей I-Phone, не игравшей в зарницу, вскормленной, по большей части, искусственным молоком? Понимание, которое происходит, происходит вопреки. Оно не должно состояться, но случается, когда мой мир уже не только сингулярный — читай факт моего сознания, — но общий мир, т. е. не просто мой, но

наш

собственный случай попадания в сознание может мало что сказать другим. Каждый из нас сам и по-своему «разбирается» с сознанием. Здесь каждый исходит из своего, а оно у нас разное. Синхронизировать и соизмерить индивидуальные попытки взаимодействия с сознанием практически невозможно: если это и случается, то только тогда, когда мы вне сознания; когда выходим из него, т. е. внешним образом.

И еще. Благодаря паузе (промежутку) человек приобщается к голосу сознания — к совести. Совесть — это и есть внутренний голос сознания, говорящий тебе о себе. Пауза позволяет прислушаться к себе и отсеять все то, что к тебе не имеет отношения. Пауза позволяет попасть в себя путем смещения от фактов жизни в сторону сознания, т. е. увидеть факты жизни в

их осмысленности. Важно научиться отвлекаться не от конкретных фактов жизни в угоду другим фактам, а практиковать в себе способность отвлечения от фактов жизни вообще и сосредоточения – посредством этого – в сознании.

Человек может замечать места и эпохи, покинутые сознанием. Однажды попав в сознание, он способен остро переживать дисбаланс между ним и жизнью; дисбаланс содержания сознательной жизни и жизни, оставленной сознанием. Смириться и примириться с тем, что наша жизнь покинута сознанием, трудно. Нас задевает положение, когда жизнь представлена сама себе, и сознания в ней не встречаешь. Правда, и с сознанием «накладно»: уж больно высоки его требования, и приспосабливаться к нему трудно. Но, оказываясь совсем без сознания, человек испытывает

страх

возникает, когда есть, собственно, некий «объект» страха; когда есть в той или иной мере осознание того, что боишься. Страх, в этом отношении, вполне объектен, объективен. В двадцатом веке, можно сказать, действует уже традиционное деление – от Фрейда до Хайдеггера – внутренней неуверенности и опасения на страх, ужас, испуг. Страх – когда знаешь и имеешь возможность подготовиться; испуг – когда угрожающее возникает внезапно. Особняком – и в этом смысле речь идет о глубинном, сущностном экзистенциале – стоит ужас как предчувствие и ожидание неизвестного. Указанная градация не полна, особенно если мы поближе рассмотрим, что, собственно говоря, происходит. Происходит: наверное, правильнее в данном случае разделить дефисом. Происходит: происходит, выливается из, выходит из нутра. Происходит: внутренний импульс, не только «раскрашивающий» факты сознания, но и изменяющий наши оптику и точку зрения. Действительно, одно дело смотреть на что-то с интересом или любоваться им, другое – этого опасаться. Изменяется не только сам конституируемый объект (собирается в совершенно ином стиле, темпе, внимании и т. п.), но и тот, кто этот объект лицезреет, собирает воедино, конституирует.

Посмотрим повнимательнее – но, конечно, не очень, ибо тогда мы и будем остаток текста разбирать довольно прихотливую динамику и структуру происходящего, – что случается, когда мы боимся (страх), испугались или когда мы охвачены ужасом.

В свою очередь, то, что маркируется как Испуг – это уже зона травмы для психики. Неизвестность вторгается внезапно и не дает возможность организовать «линии обороны». Заикание или невроз – как последствия испуга. Тот шок, который поражает изнутри и проникает в самое сокровенное, либо кардинально переформатирует незащитные, по причине неподготовленности, внутренние структуры сознания, либо окажется постоянным источником борьбы за восстановление работы этих структур в прежнем режиме, что, согласно Фрейду, результируется в приобретенных неврозах.

Гораздо интереснее ужас. Ужасаются тогда, когда неизвестно, чего бояться, когда возникает парализующая волю тревога от предчувствия неминуемого. Ужасаются просто, а не чего-то. Причем исток этого ужасающего беспокойства может быть как вовне, так и внутри. Ужас – «вектор», направленный неизвестно куда, и, возможно, неизвестно откуда. Про-истекает и все. Совершенно, потому, прав М. Хайдеггер, «записывающий» ужас в исходные экзистенциалы, т. е. то, что лежит «до» любого результата «сборки» феномена. Но, в отличие, скажем, от заботы, ужас не результируется, он не способен конституировать никакое сущее, никакой феномен, а лишь добавляет феномену определенный «колорит». Однако корректнее говорить не о конституировании феномена в определенной «тональности», а о самой тональности мира, в которую наш мир погружает ужас. Феномен – «после» мира, он уже заражен тональностью ожидания и предчувствия приближа-

ящегося нечто неизвестного, но неизбежно вредоносного. Мир и я сплавлены воедино этим ожиданием. Когда же происходит тематизация ужаса, тогда он уступает место страху, который «имеет» объект своего опасения. Ужас – как стихия, которая лишь «настраивает», а потому, наверное, правильнее было бы говорить о нем как о подлинном «настроении». Подобно любому «настроению», ужас не имеет своего объекта: когда мы просто радуемся, тогда мир становится светлее или доброжелательнее; когда же ужасаемся, тогда окружающее окрашивается в мрачные тона предчувствия неизбежно трагичного и предрешенного. А потому, когда, например, говорят, что люди живут в состоянии страха, то делают это несколько «некорректно». Ситуацию, наверное, правильнее было бы обрисовать следующим образом. Состояние ужаса настраивает процедуры сборки реальности в тревожные, апокалептические и безнадежные тона. Ужас нас охватывает, он пронизывает нас и овладевает. Все случается так, как происходит, когда нами овладевают наваждение, ревность, ярость; когда одержимым овладевают/вселяются бесы, изгнать которых возможно лишь тогда, когда вмешается другая, также овладевающая нами сакральная инстанция. Ужас – не онтологичен, он – онтичен. Ужас безобъектен, у него нет того, «перед чем» он, он просто есть и овладевает. И именно потому, что он безобъектен, с ним ничего нельзя поделать: доводы рассудка и разума бессильны перед ним. В ужасе как раз и раскрываются наша беспомощность, бессилие. «Он отшатнулся в ужасе» – но в tomto и дело, что отшатнуться, убежать невозможно, ибо раз нет объекта, то и бежать некуда, ибо раз нет «ментального топоса» ужаса, то он повсюду и, главное, внутри. Вернее: повсюду. Это «повсюду» предстает как то, что «до» «внутри», «вовне», как то, что, не имея объект, растворяет в себе и любые субъектные структуры. Именно потому ужас раскрывает Ничто. Но не то Ничто, которое служит резервуаром и опорой Индивидуальности и Свободы (ибо в этом случае мы искали бы ужаса, опирались бы на него как на самоутверждение нас), а то Ничто, которое тотально нигилирует нас самих, отдавая нашу самость в бесчувственные и бесчеловечные объятия Судьбы и Рока. Ужас – это трагедия, а катарсис, который захватывает сопереживающего героям трагедии, дарует то очищение, которое приводит не к утверждению самости, но к растворению в стихиях, нас превосходящих и нас же поглощающих.

Еще прихотливее, чем ужас, страх. Здесь разворачивается – в отношении сознания, конечно, – интрига вполне в духе Сартровского «Бытия и Ничто». Посмотрим на ситуацию, когда мы мыслим о сознании: мы боимся «оказаться наедине» с нашим сознанием и, одновременно, боимся «отказаться» от него. Мы боимся, прежде всего, той ответственности, которая сразу же начинает тематизироваться, когда мы вступаем в «зону сознания»: мы начинаем подозревать, что для принятия любого, самого маломальского решения мы должны взвесить все за и против и зафиксировать то, что **именно мы принимаем именно данное решение**, и записать его внятыми буквами на «доску почета или позора» своей истории и биографии. Эта ответственность давит, а потому вполне оправдано стремление избежать ее любой ценой, прежде всего, отказаться от этого сознания, которое заставляет нас взвалить на себя груз ответственности и за себя, и за свои поступки, и за свои решения, и за неминуемые последствия. Тематизировав, «зримо зафиксировав» свое сознание, мы одновременно принимаем на себя ответственность, простирающуюся гораздо дальше нашей зоны возможного воздействия, мы взваливаем на себя ответственность за свой мир (мир в Хайдеггеровском смысле).

А теперь простой вопрос: а оно нам нужно? Нужно ли взвалить на себя столь неподъемную ношу ответственности, причем той, которая расширяется даже на наш сон, а не только поработает наше бодрствование? А потому – избежать ее, избежать сознания, избежать любой ценой, ценой тотального забвения. Погрузиться в дела, заботы, хлопоты, привычные асаны обязанностей и ритуальных действий. И – не мыслить, спрятаться от

мысли в «зону das Man», довольствовавшись повторением не нами помысленного и продуманного, не нами освоенного и не нами найденного. Именно поэтому мыслить, т. е. принимать ответственность и за помысленное, и за реальность, за которую мы оказываемся ответственными, бесконечно трудно. Речь, понятно, не идет о том, что у нас в сознании ничего не происходит. Нет, в нем постоянно мелькают какие-то образы, мысли, мы планируем что-то, настраиваемся на что-то, стремимся и т. д. Но это все происходит без обращения к сознанию, в режиме «das Man», в режиме автоматизма и бесконечной «легкости», даруемой несобственностью и несамостоянием.

Но как можно мыслить, даже в том убогом стиле повторения несобственности, не подозревая, что за этим неаутентичным мышлением не стоит подлинная стихия мысли и сознания? Не очень получается, и самообман избегания сознания постоянно рассеивается, уступая место постоянной тревоге прорывающегося и преследующего нас ответственного сознания. А потому, как следствие, а скорее, как верный «попутчик» избегания сознания постоянно тревожащий нас страх, заявляющий в своей, вроде как безобъектной, несхватываемости, что сознание есть, что оно никуда не ушло, что любой автоматизм и любой повтор – все равно задействуют то, что хочется больше всего избежать, – сознания и той ответственности, которая стоит за спиной сознания. Это именно страх, ибо объект всегда присутствует даже в своем «якобы-отсутствии», даже тогда, когда «зона сознания» нарочито избегается

и как-то съёживается

С позиции сознания жизнь всегда есть что-то внешнее, тогда как, осознавая жизнь, мы совершаем внутреннюю работу, в параметры жизни не вмещающуюся или совмещающуюся с жизнью только частично. Для жизни наши – внутренние – «разборки» с сознанием неинтересны; не клеятся они к ситуациям жизни. Тот, кто входит в сознание, в жизни – вне ее осознания – не участвует.

Факты сознания и факты жизни – это вещи разные. Конечно, могут складываться ситуации пересечения фактичности сознания с фактичностью жизни, но, во-первых, такие ситуации не часты, а во-вторых, их некоторое совпадение обнаруживается из другого места – из «третьей», внешней, точки; внешней по отношению к месту сознания и месту жизни. Такой точкой могут пониматься, например, автор и процесс авторского творения, в процессе которого появляется некий **текст**, соединяющий сознание и жизнь. Для того чтобы констатация фактов жизни совпала с констатацией фактов сознания, необходим зритель или наблюдатель, который присутствует рядом с происходящим и фиксирует такое «совпадение».

Здесь

и теперь: две точки, позволяющие фиксировать сущее, пригвозждающее – как булавка в гербарии прикалывает несчастное насекомое – это сущее к определенному вполне «материальному месту». Но и в этом, вполне зримом случае гербария, булавка в большей степени не столько фиксирует «материальную» систему координат – насекомое в рамке за стеклом, – сколько переводит нас в символический мир, полностью перекодировав это сущее вплоть до полного изменения его как сущего. Поясню: насекомое, парализованное и умерщвленное, перемещается в мир научного познания, навеки становясь «живой» иллюстрацией определенной таксономии. Но эта «жизнь», «новая жизнь» засушенного насекомого, не просто надстраивается и паразитирует «поверх» конкретного прежде живого существа, но она возможна лишь тогда, когда оно, это животное, уже мертво. Это – «эйдос» перекодировки, т. е. предельно обнажающий и разоблачающий самого себя: жизнь в одной

системе координат означает смерть в другой (реальное существование насекомого не совместимо с его «жизнью» в качестве иллюстрации в энтомологическом собрании).

Здесь и теперь: точки, в которых пересекаются все символические линии, горизонт символического. Из этого-то горизонта, окружающего нас, который окаймляет нашу систему координат, и «восходят» солнца перекодировки, освещающие через «здесь и сейчас» своим символическим светом нашу реальность, называемую миром. Ту реальность, которая уже есть «до» любого акта конституирования каждого объекта этого мира. Здесь и сейчас – не точки, а вход в наш символический мир. У каждой культуры – этот вход свой, уникальный, т. е. свои «здесь и теперь», размечающие по уникальному шаблону наше мироокружье изначально и

необходимо

акцентировать внимание на том, что **объекты сознания** могут возникать внутри конкретной направленности сознания и существуют благодаря этой направленности. Без энергии сознания такие объекты угасают и перестают существовать: они именно гаснут, а не распадаются. Распад объектов сознания, если это происходит, возникает тогда, когда в направленность сознания вмешивается иная энергия; энергия иного сознания. Направленность задает ток силы, позволяющей объектам сознания существовать. Можно сказать, что объекты сознания держатся благодаря ей.

Если же вернуться к теме разности фактов сознания и фактов жизни, то стоит добавить еще одно соображение. То, что стало фактом сознания – для того, кто начинает осознать, – фактически не может быть отменено, разве только этот факт сознания может быть как-то скорректирован другим фактом сознания, но, конечно, не фактом жизни. Факты сознания соотносятся друг с другом, но не с фактами жизни, и потому они могут быть рассматриваемы в виде некоей единой **среды** или в виде некоего **континуума**, в пределах которых нет и не находится места и времени для фактов жизни. Фактичность сознания и фактичность жизни можно уподобить отдельным друг от друга параллельным логическим и, соответственно, содержательным горизонтам, внутри которых действуют разные закономерности. И то, что значимо для одного континуума, может совершенно ничего не значить для другого.

Сознательные акты

и то, что принято рассматривать как бессознательные, инстинктивные акты, наконец, автоматизм привычек, позволяющий если не думать, то, по крайней мере, не отдавать себе явный отчет в их совершении, т. е. не «возводит» их в ранг рефлексии (которая, напомню, изменяет непосредственное), – разделение, конечно, довольно условное. В сознании – если его, конечно, рассматривать шире, чем просто рациональную мыслительную деятельность, – много «намешано», смешано и сплавлено. Как и любой феномен нашей человеческой, а потому культурной, реальности, все символично, т. е. представляет собой конденсат (причем вечно изменяющийся и подвижный) бесконечных отсылок, с одной стороны, выбрасывающих нас в иные контекстуальные поля, с другой – эти самые контекстуальные поля связывающих в едином символическом образовании. Конечно, когда мы начинаем рефлексировать, то можем разделить и изолировать в нашей мысли и сознательное, и бессознательное, автоматизм и рефлексивное схватывание, но все эти операции как изолированные в сознании – довольно условны и абстрактны и упрощают реальное обстояние дел. Не говоря уже о том, что рефлексия всегда изменяет первично данное, а потому рациональные операции имеют дело не с реальностью чего-либо, а с преобразованной, вторичной реальностью мысли. Любое сущее, которое конституируется нами, которое проживается

нами, которое воздействует на нас, – это сплетение и взаимопроникновение бесконечного числа отсылок. Это же верно и в отношении самого «феномена» сознания, когда мы его изолируем в нашем сознании как объект и подвергаем рефлексии. В любой его акт (а говорить о сознании имеет смысл не как о статичной структуре, а как о динамическом процессе) вплетено слишком многое: в сознание – и бессознательное, и автоматизм, а в жизненные и, кажется, лишённые осознания, действия – вполне рациональный и взвешенный расчёт... А потому не столь уж несознательны наши иногда «спонтанные» и неосознаваемые в момент совершения поступки

и реакции

человека сориентированы фактами сознания, но не фактами жизни, так же как и повседневные действия людей обуславливаются именно фактами жизни, а не фактами сознания. Следует понять и принять, что выделенные посредством сознания точки жизни внутри самих жизненных реалий не значимы. Можно сказать, что для жизни они не существенны, т. е. для нее их нет.

Добавим: деятельность сознания может совершенно не совпадать с нашей жизненной потребностью: человек сознательно может ограничивать свои жизненные потребности и, придавая им статус частности, отказываться от них.

Не секрет, что нас съедает работа, т. е. предельная, насколько это возможно, интеграция в среду практических действий. Все существенное мы связываем преимущественно и только с работой, а то, что с ней не связано, включая и размышления о чистом действии или о недеянии, связанном с попаданием в среду теоретической паузы, стремимся последовательно в себе вытравить. В результате все, что не связано с работой и к ней не имеет отношения, приучаемся считать «комплексами» и «фобиями». Следовательно, многое в нас, в первую очередь – своё, не будучи востребованным, деградирует или просто исчезает. С «подмораживанием» своих чувств, вялостью своей мысли и зябкостью своей жизни сталкивается эпизодически или постоянно каждый из нас. Пытаясь взнуздать себя и распрямиться, к каким только средствам мы не прибегаем, но и это не спасает и не греет.

Чувственность человека, разумеется, никуда не девается: ее проявления в виде «вспышек» страстей и экстатических состояний случаются практически с каждым человеком. Однако, будучи загнанной во внутренний мир человека и не находя для себя публично принимаемого выхода, связанного с рациональным к ней отношением, чувственность находит свое разрешение в квазиформах: например, в экстрасенсорике или порнографии.

Сознание же позволяет нам взаимодействовать с чистыми – теоретическими – формами и понимать благодаря этому свою жизнь. Справедливости ради заметим, что, к сожалению, большинство людей либо вообще оказываются не способными приходить в сознание, либо, приходя в него, не способны применять теоретическое знание применительно к своей собственной жизни. Но если это случается, то сознание способно наделять жизненные факты именно «сознательными» характеристиками и качествами. Из жизни теперь уже берется то, что способно войти в состав события.

Так, если человек стремится разобраться в своем чувстве или в чувстве другого человека, а тем более, увидеть во вспыхнувшем чувстве событие, ему не остается ничего другого, нежели сделать его фактом сознания и перестать относиться к нему как к факту жизни. Люди нередко поддаются порыву чувств и тонут в их наплыве: они привыкают жить и ценить «буйство глаз и половодье чувств», считая, что это им «по душе», хотя к душе это отношения не имеет. Важно именно «переварить» чувство, чтобы оно стало **своим**: впадение человека в чувствительность воспринимается в рамках определяющего рационального отношения как нечто неуместное. В не «переваренном» и не «переработанном» виде любое чувство в нас

не помещается и в нас быть размещено не может: оно нами изрыгается, а это – не только не эстетично, но и не физиологично. Стоит обратить внимание, что в спешке человек уже, вроде бы как, и не может обходиться без таких не «переваренных» и потому разлагающихся в нашем существе чувств.

Если мы

остановимся...замрем... если скажем «стоп» потоку жизненной суеты (фактам жизни) и обратимся к мысли (фактам сознания), изолировав в меру философской «испорченности» реальность, то какое эпохэ (Гуссерль) мы получаем в результате? – Чистоту потока сознания, где любое переживание как акт сознания – неизбежно, но от этой неизбежности не менее нелепый скандал. Прежде всего, скандал потому, что в результате изолирования в нашем сознании актов, переживаемых нем, мы получаем переживание, лишенное жизненности, по сравнению с реальным переживанием, а значит – и не переживание вовсе. А то, что переживается, или интенциональный объект, распадается на два «потока»: «что переживается» и «как оно переживается» (ноэзис и ноэма), что также довольно далеко от реально переживаемого акта сознания, в меньшей степени «озабоченного» на «что переживается» и «как оно переживается».

Скандал еще и в следующем: переживание как чистый акт сознания изначально не чисто, ибо включает в себе ссылки на «нечистый» и чуждый объект сознания. Конечно, это не тот реальный объект, который еще предстоит конституировать, «собрать», но все же нечто иное, нечто чуждое сознанию как таковому, но включенное в сердцевину чистоты самоданности сознания, основная характеристика которого – интенциональность как направленность на... Изолировав внешний мир, мы его же и помещаем внутрь созданной «конструкции» как основной «персонаж» происходящего, причем лишенный, как и само сознание и его переживания, той жизненности, которая остается по причине своей сомнительности (Декарт) вне игры.

То, что замирает, останавливается – это реальный мир, а потому и должно замереть и остановиться само сознание, лишенное своей опоры, своей «пищи». Эпохэ мира – это остановка мира, а потому и остановка реального сознания. Это смерть, ибо «подлинно» замирает и останавливает поток реальности лишь тот, кто уже умер...но он уже не есть. Он перешел в иное, «параллельное». «Мертвые сраму не имают», они выпадают из подвижных и постоянно суетящихся в динамике, развитии, стремлении рядов сущего, подвижного сущего. Они, умершие, – совершенны, ибо уже все совершено и сделано, и интерпретационные потуги вписать их в подвижный горизонт – «Ах, вот он какой на самом деле был...» – их, умерших, в их совершенстве никак не затрагивают.

И дело даже не в том «теоретическом» изъяне, который мы акцентировали в феноменологии, но в том, что этот изъян отражает ту опасность, которая отчасти объясняет «безмыслие» нашего повседневного существования: сознание опасно для жизни в своей потенциальной инфигированности смертью. А потому и вполне понятно желание думая, мысля, стараться все же не думать, не подвергать пусть и не ставшие рефлексивно тематизированными подвижные порядки реальности той смертельной остановке, которая «поджидает» эту реальность со стороны сознания. И это ощущение смерти – избегается вполне экзистенциально и

реально

переживаем некую страсть, это – объективный факт нашей жизни, однако в границах своего ожидания и размерности переживания ее последствий эта страсть предстает фактом

нашего сознания. И мы не можем без этого обходиться. Осознание чувства, так же как жизни и смерти вообще, конечно, субъективно, однако это – факты сознания; факты его объективности. Заметим, в частности, что и в интимных отношениях на смену чувственному влечению приходят рационально выстраиваемые сексуальные или брачно-семейные отношения, связанные с осознанием страсти и возникновением фактов осознания человеком своей чувственности.

Сфокусируем внимание на том, что секс, будучи механизмом воспроизводства человека, не только служит деторождению, но и может пониматься в качестве занятия, приносящего человеку удовольствие. Здесь важно подчеркнуть то, что секс обладает избыточным характером, по сравнению с иными механизмами природного размножения.

В поиске друг друга люди вовлекаются в процесс «любовных игр», где могут воспринимать себя уже в качестве одного – единого – тела, в которое они «помещаются», переживая порывы экстатического напряжения. К тому же воспоминания о пережитом продлевают и буквально длят случившееся единение.

Особо следует оговориться, что сексуальные воспоминания являются одними из самых сильных воспоминаний. Они в состоянии вобрать в себя всего человека во всей его целостности. Характерно, что такими воспоминаниями человек предпочитает не делиться, а если и делится ими с кем-либо, то только отчасти. Другими словами, переживание таких воспоминаний демонстрирует задетость – ими – нашей психики. Человек становится тронутым такими воспоминаниями и даже поражен пережитым им в прошлом экстатическим выходом вне себя, оборачивающимся вхождением его целостности в целостность другого. Он тронут и поражен тем, что смог пережить выход за пределы самого себя.

В эпицентре сексуальных переживаний человек в действительности снимает свою пространственно-временную определенность и утрачивает свои конечные очертания. И потому речь здесь должна идти не только и не столько о физиологии, сколько о мета-физиологии или

о метафизике

пола и любви сказано много... куда ж деться от «основного инстинкта»? Окно в иной мир, в бесконечность, путь к Богу; наконец, все помнят «Евангелие» с его Бог есть любовь... Нет чтобы просто ограничиться констатацией «любовь – это немного неприлично, но очень, очень приятно» или тем, что все это – банальный способ продолжения рода... Так нет, надстраивает мысль «редуты» красивых слов, чтобы оправдать и эстетически навести глянец над вполне прагматичной ситуацией воспроизводства, причем, она, мысль, так «понастроит», что, вместо того чтобы способствовать мультиплицированию населения Земли, она, скорее, приводит к его уменьшению... И все... все... даже в той приземленной версии о любви и поле, который тиражируется «утилитаризмом» и «прагматизмом» обыденности, есть нечто мистическое, ибо даже в этой версии ответа на вопрос о любви всегда заключен вполне прагматичный вопрос: «А зачем?» Ведь проще и без пола, и без любви... Тем более, что в современности пол – дело наживное и «косметологическое», да и, как говорят, ангелы пола не имеют, и воскреснут все отнюдь не «озадаченные генитальными проблемами»; а любовь – лишь шалость юности, еще не осознавшей свое предназначение в накоплении наличности...

Зачем все это? Зачем продолжать род, если мы не будем отвечать, руководствуясь биологической «точкой зрения», или уберем архаические культурно-религиозные доминанты, с необходимостью различаемые в этом вопросе? Ответственность перед ушедшими и грядущими в ситуации, когда все здесь для «конкретно тебя», заканчивается? Да это все пустое и иррациональное.

Зачем, зачем?..

Вопрос, который каждый задает себе и, в меру своей отданности себе и своей мысли, отвечает. Каждый: можно удовлетвориться любой версией ответа. Можно вообще его, вопрос, вроде, не задавать, но на периферии сознания все же отвечать на него. Можно, наконец, поставить здесь и сейчас вопрос о себе и, одновременно, чередой других, с которыми ты внутренне, а не внешне сплавлен...

... чередой поколений, взламывающих время и прорисовывающих время вечности рода... связь с прошедшими и уже ушедшими, с грядущими поколениями и со своими, рядом идущими по жизни...

Но при чем здесь сознание? Ибо речь ведь сейчас – магистрально – о нем? Сознание – это то, что не просто надстраивается над физиологией и биологией, сознание – это то, что делает пол полом, а любовь любовью. И дело не просто в том, что мы только благодаря сознанию, собственно говоря, и знаем, с чем имеем дело. Хотя, кажется, именно без него, сознания, все и происходит, ибо нехитрое это дело без оно, сознания, «реализовывать» физиологические позывы. Дело, скорее, в том, что только у человека есть возможность не просто преодолевать физиологию или возводить ее в ранг рефлексивной абстракции, но и делать физиологию сознанием, а сознание – физиологией. Мы мыслим телом, но, одновременно, делаем, создаем пол. И это не просто «технологический искус» или «извращение» современности – вопрос о поле и о возможной его смене. Всегда и везде маскулинность или женственность – результат не физиологии, но культурной и социальной дрессуры. Мужественность воспитывается, так же как и утрачивается.

И именно в нашем сознании происходит изначальная идентификация другого как символического пола и определяется наше к нему отношение. Мы собираем и определяем, мгновенно и почти что «инстинктивно», другого как нашу внутреннюю структуру, как горизонт наших действий и совместности, выстраивая символическое поле нашей миро-окружности. Не существует для нас физиологии: она – символически инфицирована, а наша жизнь – всегда символическая жизнь, а не просто биологический процесс, который маркируют как

жизнь

если стремимся ее понять, предстает не чем иным, как совокупностью событий, к осознанию которых мы вновь и вновь возвращаемся. Смысл события разворачивается в связи с бытием:

событие – со-бытийно

более того, символически со-бытийно. Сама со-бытийность и есть тот символизм, в котором живет

человек

может, конечно, взаимодействовать с «приземленными» и «заземленными» событиями, сводя их к жизненным ситуациям, случаям и обстоятельствам, однако тогда онтологический статус события неуклонно понижается. По сути же, каждое из этих событий собирает и суммирует в себе то, что «до» и «вне» этого события выступало чем-то разрозненным. Событие можно уподобить цели, к которой, не зная об этом, направлялись разные частности нашей жизни. После того как событие свершилось, оно понимается нами причиной дальнейшего направленного движения жизни.

Событие фактически **собирает** человека в определенное единое тождество. Благодаря событию отдельные и спонтанные содержания жизни индивида получают единую перспективу его понимания, будучи стянутыми этой перспективой. На фоне случившегося понимания отдельные содержания жизни действительно спасают себя.

Вот почему необходимо периодически совершать особое дополнительное действие приобщения к событию всех разрозненных действий. На основании придания всему существующему пониманию строится любая сакральная – культовая – деятельность, связанная с выполнением определенного ритуала и обряда. Благодаря такому особенному действию любое отдельное действие обретает некоторую избыточность своего «прочтения» и восполняет себя, так как теперь оно превышает пределы, внутри которых оно понималось до этого.

Уже после того как человек связан с неким событием, оно является дополнительным стимулом развития его жизни. Без события человек обойтись не может:

одно событие «отмечается» и «отставляется» в сторону не само по себе, а только обращением к другому событию.

Событие не прекращается: одно событие может быть замещено и ограничено лишь другим событием. Но это означает лишь то, что мы всегда в событии, и есть только два окончательных и предельных события, которые не ограничиваются «лично» для нас другим событием: смерть и рождение. Но даже они – рождение и смерть, – включаясь в символизм человеческой реальности, утрачивают свою предельность и окончательность, вписываются в событие других: мы живы, пока нас помнят, пока помнят нас, нас помнящие, пока живы те, кто помнит о помнящих нас... Мы уже здесь, в этом мире, мы в нем уже тогда, когда мать наша носит нас под своим сердцем, когда наши родители встретились, когда наша бабушка носила и ждала появления на свет нашей матери... Событие, в этом смысле, абсолютно, событие как со-бытие. Более того: само бытие всегда полагается в нашей человеческой реальности – и это уже вопрос онтики – как со-бытие, и со-бытие события, распластанного серией конституирующих и уходящих в бесконечность символизма отсылок. А потому изначально полагается тотальность со-бытийствующих в том, что можно назвать миром, миром – и до, и одновременно с той интенциональной заботой, которая разбивает единый мир, ойкумену нашего присутствия на фрагменты-феномены.

Наряду с повседневными вопросами, которые встают перед человеком в процессе жизни,

разрешение которых – дело времени, есть другие вопросы, носящие неразрешимый характер. Любое их решение всегда временно, частично и не снимает сам вопрос. Предназначение таких вопросов состоит в том, что они являются линиями связи человека с сознанием и сознания с жизнью. Такие вопросы формализуют разнонаправленные психические содержания нашей жизни, структурируют отдельные жизненные факты путем их осознания и придают психике направленный характер развития, в результате в совокупности действий образуется некая тенденция.

К слову сказать, многие наши беды проистекают по причине неумения **спрашивать**, в первую очередь – спрашивать самих себя. Не удивительно поэтому, что все больше в современном обществе распространяется несомненность.

Человеку, не испытывающему сомнений, вопросы ни к чему. Несомненность направлена на такую трактовку любого отношения человека к чему бы то ни было, когда противоположное принципиально не может пониматься в субстанциальном ключе, а если и принимается в расчет, то сугубо функционально.

Если и выбирать между стремлениями понять себя и понять жизнь, то нужно, конечно, выбирать первое, а не второе. Надо пытаться понять себя: себя – осознающего и себя – отказывающегося от сознания. Пытаясь понять жизнь, человек вынужденно и независимо от себя самого начинает подменять своё не своим: он опирается на жизнь, исходящую из себя самой и собой мотивированную, но не на ее

понимание

– это то, во что мы погружены, что есть, собственно говоря, мы сами. Мы живем, понимая, «создавая» свой мир, мы его, наш мир «создаем», понимая. Понимание – это отнюдь не рациональный и рефлексивный процесс. Понимание – до любой фиксации и рационализации. Мы понимаем всей нашей жизнью и любым нашим действием. Я «понимаю» дверной замок не столько тем, что знаю его устройство и как он «работает», «мгновенно» пробежая цепочку «силлогизмов»: вот дверь, у нее замок; значит, чтобы ее открыть, я должен повернуть ручку, и т. п. Я понимаю дверной замок, когда просто подхожу и открываю дверь, не тематизируя и рационально не фиксируя те этапы, на которые иногда в инструкции разбивается (и тем, довольно часто, запутывается) реальный процесс... Все, скорее, происходит, как в ситуации *durée* у Бергсона: есть единый процесс длительности-времени, который, конечно, рацию может разбить на серию кинематографических и замкнутых эпизодов-точек. Но при этом реальность подлинной длительности *durée* утрачивается, т. е. мы теряем живое время, которое замещается симуляцией прерывистых толчков. Так и с пониманием: оно дорационально, а рациональная разбивка лишь «извращает» реальный жизненный процесс понимания. И подобно той схематике, которую прозорливо выявляет А. Бергсон в отношении реальной длительности, в отношении понимания мы действуем подобным образом: при «расщеплении» «континуального» и «единого» акта понимания получаем блоки, которые не могут потом быть собраны в сам акт понимания.

Понимание – это мы сами, ибо то, что мы конституируем как изначально данное, а именно – наш мир, первично «выстраивается» через понимание, а потому «инфицирован» пониманием, является этим самым пониманием.

Понимание – это всегда со-бытие, ибо понимать – это, как говорил Ж.-П. Сартр, всегда превосходить себя, выходить за пределы самого себя, делаться иным в самом себе, пропитывать собой весь мир и мир собой. Со-бытийность мира тождественна, поэтому интенциональная включенность в мир и раскрывается в понимании. Мы понимаем всем своим существом: мы понимаем телом в той же мере, что и понимаем «головой» или «сердцем».

Именно поэтому так редка философия, которая занимается пониманием мира, его прояснением. Но тогда можно сделать вывод, что философия не сильно отличается от той повседневности, в которую мы погружены: и то, и другое «инфицированы» пониманием. Отнюдь. Понимание, в которое мы погружены, и понимание, которому предается философия, сущностно различны. Постараюсь прояснить это.

Всем известно, что уже в античности (Платон, Сократ, Аристотель) первый жест философии связывали с удивлением. Но в том мире повседневности, в котором мы живем, т. е. в ситуации, в которую мы все, по большей части, погружены, нет места удивлению: мы понимаем изначально и всегда, не сомневаясь в своем понимании нашей ситуации. Удивление же может возникнуть лишь тогда, когда произошел «кризис» в структуре обыденного понимания, когда прежде понятное вдруг стало непонятным и непостижимым. Это происходит тогда, когда «физика» оказывается мета-физикой, т. е. тем, что «по ту сторону» естественного, когда мир выявляет в себе самом не зоны понимания, а, наоборот, раскрывается в своей потаенной и ужасающей непонятности. В этот-то момент проясняется, что обыденность, погруженность и «лишенность» мысли не гарантируют преж-

него процесса понимающего конституирования. Мир уже не собирается по-прежнему: без напряжения, без размышления, без мысли, без сомнения.

Конечно, потом, после этого первичного сомнения-удивления, наступает другое понимание, но это, новое понимание, – уже не то, что было прежде. Оно оказывается рефлексивной попыткой преодоления непонимания, а потому – отказа от себя прошлого, «спокойного» и уравновешенного и, соответственно, от своего прошлого мира.

Но, конечно, не будем же столь самонадеянны и очарованы философией: философия не единый способ понимать себя и свой мир. Мы принимаем и другие «асаны»,

пытаясь понимать жизнь,

человек приносит себя в жертву и начинает служить частному. Либо мы увязаем в фактах жизни, либо успеваем переработать их в факты сознательного опыта, которые в таком виде понимаются нами как события нашей жизни.

Бывает, говоришь с человеком, стремясь выявить, чем он живет и дышит, а он втягивается в мелкотемье, размывается на частности частных. И ты устаешь не от обилия мелочей, а от неоправданности твоих ожиданий и неудачи установления отношений человека с человеком, которые все откладываются на «в дальнейшем» и на «потом». Становится досадно, почему люди тонут в частных, отказываясь от себя, и не могут жить своей жизнью? Почему они не могут связать себя только с одной частностью, отделяя ее от всего остального? Ведь такое соединение с отдельным многое могло бы дать человеку в деле понимания им себя. Но нет, поток мелочей прочно захватывает его и, расплющивая его суть своей массой, уносит с собой.

Важная сама по себе любая

мелочь не видна, когда она воспринимается

близко. Вопрос перспективы: близкое занимает весь наш горизонт. Еще хуже: когда благодаря своей близости она, мелочь, становится нашими «глазами», через которые мы смотрим на мир. Мир становится «перекодированным» и растасканным по мелочам. Нужно удаление и, возможно, то эпохэ, которое происходит, когда мы, останавливая поток близлежащие важнейшего, встаем в рефлексивную позицию. Мы удаляем из наших «глаз» все это мелковажнейшее, то, чем насыщена без предела наша жизнь, забота о чем стала нашей единственной заботой... И тогда, удаленная, удерживаемая на расстоянии ставшей ближайшей мыслью, она и показывает свое истинное «лицо» и свое предназначение. И – главное – свою ненавязчивую опасность: оказаться погруженным в стихию безмыслия повседневности, сотканной и обретающей свой смысл

в потоке мелочей.

Масштабность не дает воспринимать мелочь. В ситуации глобализма человек утрачивает способность сугубо **своего** восприятия и, отчуждаясь от себя, способен воспринимать теперь уже только то, на что обращается внимание других. Восприимчивость человека – это основание его собственной жизни – кардинально изменяется; она сминается и комкается внешней инсталляцией того, как надо воспринимать явление с позиции масштаба больших цифр.

Необходимо постоянно приостанавливать и стопорить потоки, в которые ты вынужденно втянут и которые влекут тебя без твоего индивидуально-личностного участия. Важ-

ным способом в этом деле является сосредоточение внимания: сам сигнал «внимание!» ориентирует на прерывание деятельности, которую человек вел до этого.

Здесь,

в этом мире мелочей и сиюминутных обязанностей, и протекает вся наша жизнь. И не надо приуменьшать ее воздействие. При всей своей мелочности и незначительности (с точки зрения высокомерия «великих дел и великих свершений»), эта повседневность формирует наше сознание. Именно в погруженности в эту стихию происходит создание того мыслительного «аппарата», который эту же повседневность и презрительно отвергает. Но не забудем: здесь происходит самое значительное в нашем мире, а именно – рождение и становление человека. Конечно, физик может мыслить о мельчайших кварках вселенной или о том, что возможно мыслить о времени, текущем в обратном направлении. Но вот настает «конец рабочего дня, и за пределами своей лаборатории и своей мысли о предельном и беспредельном он вполне «бездумно» наливает себе в чашку кофе, – чтобы, кстати, стимулировать течение своей мысли, – и делает это без учета «обратного» хода времени или кваркового состава того, что будет пить как эспрессо... Не стоит, кстати, забывать о том, что сказал как-то Фердинанд де Соссюр: на обычном рынке, базаре за день происходит рождение большего количества новых слов, чем за год деятельности Академии наук... Сказанное – не «похвала» повседневности, но «констатация» реального обстояния дел. Важно, однако, чтобы все эти хлопоты и заботы не захватили полностью и окончательно нас до «гробовой доски», чтобы мы хоть иногда, прерывая поток повседневности, вставали в рефлексивную позицию мысли, от этой повседневности отстраняясь и

отвлекаясь,

хотелось бы поделиться одним соображением. Ряд глубоких метаморфоз, происходящих с нами, думается, станет более понятен, если мы обратим внимание на новоевропейское отношение к истине, добру, прекрасному, совести, стыду, чести. Раньше человек мог понимать их именно как вещи, его взаимодействие с которыми позволяло ему собираться в самом себе. Он отвечал на их зов,

преодолевая в себе пустоту,

обретаем ли мы нечто? Ну, с точки зрения, например, шуньявады? Если все пустота, то стоит ли ее бояться и опасаться? Впрочем, пустота пустоте рознь. Онтический статус пустоты – значителен. Можно упомянуть «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартра, Ничто М. Хайдеггера, или шуньяту-пустоту буддизма, чтобы различить Ничто и ту ничтожность, которую культивирует das Man. То, что мы иногда называем «насыщенной» жизнью, как раз и обладает всеми признаками никчемности, по сути – пустотности. Эта пустотная жизнь возникает тогда, когда мы лишаемся аутентичности своего бытийствования. Пустота возникает как при обретении кажущейся насыщенности и полноты существования, так и

при утрате

– в наших глазах – своей вещности; и в своем внутреннем развоплощении эти вещи становились только понятиями, которые воспринимались как пустые формы, начинающие что-

либо значить только внутри определенных идейных горизонтов. Ясно, что значение понятий может определяться в различных контекстах по-разному.

По мере своего «превращения» в понятия наиболее существенные для нашей жизни вещи наполняются разным содержанием в зависимости от того, к каким языковым комбинациям и понятийным играм мы прибегаем. За счет своего втягивания в такие – бесконечные – построения человек получает возможность облегченного и менее ответственного отношения к истине и добру, стыду и чести.

Сама втянутость человека в дело наполнения пустых понятий различными содержаниями, когда он уже не может этого не делать, свидетельствует о его внутренней опустошенности. Себя человек знает все меньше и меньше. И, будучи далеким от себя, он потому и стремится занять себя тем, что к нему самому непосредственного отношения не имеет.

В этом своем опустошении, оборачивающемся ничтожением своего, он рискует утратить последние свои силы. Ему бы собраться и сосредоточиться, но он не знает, кто он такой и когда бывает собой, а когда – нет. Более того, человек уже и стремится не задавать себе вопросов о том, когда он есть и где он есть.

Незнание себя и неумение связаться с собой – отличительная черта нашего времени, компенсируемая обильным ростом разнообразнейших средств по связыванию себя с другими, как и увеличением объема времени, которое незнающий себя человек готов тратить на установление внешних по отношению к себе связей.

Аргумент типа «я не знал» или «я не предполагал» не срабатывает, ибо за своё знание – по мере обретения своего, как и за свое незнание – по причине того, что такое «незнание» – своё,

каждый отвечает сам

и каждый отвечает в пустоте своего одиночества. И именно это – не вполне оптимистическое предчувствие – прячется за тем разворотом от обыденности, когда мы начинаем мыслить и обращаемся к внутренней жизни нашего сознания. Причем отвечать за всех. И это – не идея соборности. Отвечать за всех – как реальная ситуация в том мире, который мы конституируем как свой мир. Мы за него отвечаем, ибо никто, кроме нас, его не создает. А потому человек всегда отвечает только за себя и всегда находится в пустоте своего одиночества, даже

если некто берется отвечать за другого человека,

он должен понимать, что становится частью жизни того, кому он помогает, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Человек становится основанием действий того, за кого отвечает, а тому, возможно, станет когда-то трудно все это вынести, и он непременно напомнит об этом тому, кто вызвался быть основанием его жизни. Причем напомнит об этом неожиданно, ведь отвечающий об этом помнить не будет, а будет полагать, что он «просто» помог человеку. Он обязательно будет застигнут врасплох из-за своего непонимания ситуации.

Возможно, что характерное для нашей жизни опустошение – опустошение повсеместное – является последствием приучения себя к тому, что

мы принципиально способны наполнить любое понятие любым содержанием по причине его пустоты,

и тогда мы «присягаем на верность» А. Шопенгауэру, у которого понятия – пустые футляры, куда возможно вложить если не все подряд, то многое. Именно у А. Шопенгауэра понятие – функция разума, который, в отличие от рассудка, не дает нам никакой твердости и реальности. Но – с другой стороны – как раз понятие, «вырабатываемое» разумом человека, отличает нас от животного, обладающего, так же как и человек, рассудком, т. е. способностью на уровне чувственности создавать мир как представление. Лишь человеку принадлежит

сама возможность употреблять понятие

обусловлена способностью человека его чем-то наполнить. Мысль понимается «оболочкой», которую можно и даже необходимо заполнять, а человек втягивается в не прекращающиеся траты себя без какого-либо внутреннего своего восполнения, чему ранее способствовало связывание его с вечностью вещей.

Заметим, что ко всему человек относится с позиции **влечения**: он вовлечен во взаимодействие с вещью тем обстоятельством, что она его увлекает, а он к ней влечется. В параметрах такого увлечения собственно и формируются все технические средства, включая понятийные аппараты, на основе которых осуществляется содержательное описание вещи.

Влечение к вещи

как к своему иному, как к застывшей и ставшей материальностью мысли. Вещь – не просто то, что мы сделали, что мы потребляем и что извечно соседствует с нами. Вещь – зеркало сознания, в которое проще заглянуть, чем в само сознание. Конечно, для этого вещь должна повторить тот жест эпохи, который изолирует ее из ее непосредственной служебности. Вещи мы не замечаем, так же как не замечаем сознания: мы просто ими пользуемся, и лишь тогда, когда что-то не получается, когда вещь «ломается» или «вдруг» ее не оказывается на привычном, а потому незаметном, месте, мы обращаем вдруг на это внимание. Вещь, как и сознание, мы обнаруживаем тогда, когда есть «удивление», когда есть толчок, заставляющий нас вдруг обратить на нее рефлексивный взгляд, изъясая ее из потаенности безмыслия обыденности. Конечно, этот взгляд – взгляд рефлексивный, т. е. жест, запускающий вполне внятные герменевтические процедуры. Но он несколько отличается от другого рефлексивного взгляда, когда, например, мы пытаемся починить сломавшийся прибор. В этом случае мы действуем с рефлексивной приглядкой на его «служебные обязанности», т. е. начинаем смотреть на вещь несколько по-другому, нежели тогда, когда просто пользуемся ею.

Но и тогда, когда вещь пребывает в своей служебности или когда она изъята из оборота повседневности, она оказывается не менее инфицированной символичностью, чем, скажем, любой написанный на бумаге текст или послание. Это происходит, прежде всего, потому, что любая вещь обладает не просто бытийственностью, каковой «пропитаны» естественные предметы природы, а, можно сказать, своеобразной интенциональной бытийственностью (событийствованием). Вещь заражается интенциональностью, свойственной человеческому сознанию, поскольку этим сознанием, в конечном счете, конституируется. Напомню, что сознание – как справедливо, но отнюдь не достаточно, зафиксировали Брентано и Гуссерль (и, конечно, череда феноменологов рангом помельче) – есть всегда «сознание о...», т. е. оно, сознание, направлено «на что-то» и пропитано своим объектом. В этом отношении та интенциональность, которой пропитана вещь, несколько иная, ибо связана, прежде всего, с ее статусом служебности: без служебности вещь – это просто предмет. Вещь – это «всегда вещь для...». Иначе говоря, для вещи сущностным

является ее телос, который и приводит ее к ее бытийствованию. Например, мобильный телефон – это вещь, которая создана **для** того, чтобы с ее помощью можно было разговаривать с человеком, удаленным на расстояние (конечно, в современном мобильнике это – одна из функций). В свою очередь, кастрюля – это вещь, служащая **для** приготовления пищи, а ручка – это вещь, которую берут в руки **для** того, чтобы с ее помощью что-либо писать, рисовать и т. п. Именно это «**для**» любой вещи раскрывает ее служебность, но как раз в этой служебности и заключена и причина бытийствования вещи. Но это «**для**» вещи – как показатель инъекции ее символичности, а потому через это «**для**» можно осуществлять герменевтическое истолкование стоящего перед нами рукотворного предмета – вещи.

Интенциональное «**для**...» вещи (ее служебность), можно сказать, служит для того, чтобы запечатлевать интенциональное «о...» нашего сознания, создавшего эту вещь. Именно благодаря служебности, фиксируемой в «**для**» вещи, мы можем увидеть «вещественный» облик нашей интенциональности и, соответственно, нашего сознания. Можно, конечно, проводить феноменологический анализ сознания – трудный и во многих позициях спорный, но, во всяком случае, имеющий дело со столь «эфемерными» и трудноуловимыми сюжетами «ноэзиса» и «ноэматических» горизонтов, потока сознания и т. п. Но гораздо «проще» и «нагляднее» увидеть и, соответственно, проинтерпретировать и результат, и процесс сознания, запечатленные в облике и действии вещи. Вещь – это **свое иное** нашего сознания, причем не только в той его части, которая относится к т. н. «эйдетике», но и в тех его «регионах», которые можно условно отнести к бессознательному и даже телесному. Вещь – например кресло – подстраивается, подгоняется под нашу «физиологию». Причем эта подгонка проявляет не столько то, что мы обладаем определенными физическими параметрами, но, в большей степени, то, что наша физиология пропитана символичностью. И она, вещь, пропитана этой символичностью не в меньшей мере, чем, скажем, культурный институт или произведение искусства. Простая иллюстрация, связанная с только что упомянутым креслом. Достаточно сравнить облики кресел – от трона самодержца до «пуфиков» в какой-нибудь приемной директора, – как перед нами сразу проступает символическая значимость вещи, и, соответственно, «трансформация» облика «места для сидения», его подстраивание под культурные линии того пространства, где оно находится. В первом случае – трон – это не просто место для сидения монарха (хотя, конечно, и это), но манифестация его власти и величия, заставляющая саму телесность позы подстраиваться под ритуализированное пространство манифестации величия. Во втором – это место релакса и необременительного ожидания, в котором можно разве что полистать журналы и перемолвиться парой политесных фраз с теми, кто столь же «погружен» в «негу комфорта» – напротив или наискосок от вас – на таком же, обволакивающем телесность, месте для сидения.

Таким образом, кресло, как и любая вещь, запечатлевает нашу мысль, наш культурный контекст и отражает наши чаяния, наши стремления и во вполне внятном и зримо удерживаемом облике дает возможность герменевтического прочтения символического, которым пропитан каждый наш жест, каждый наш взгляд. Она, вещь, собирает в материально зримом виде наши заботы и стремления,

как и влечение вообще

оказывает на человека восполняющее действие.

Своим по отношению к сознанию человеку не стать. И в этом смысле сознание всегда есть некое **странное** и **чужое** по отношению к нашей жизни явление, вторгающееся и располагающееся в ней неожиданным и неожиданным образом. Разумеется, мы можем способствовать развитию в нашей жизни сознания, но это происходит именно осознанно. Иначе

говоря, проникновение сознания в параметры нашей жизни и его «расположение» осуществляются самим же сознанием. Вот почему говорить о том, что сознание может быть вызвано нашим намерением – намерением «попадания» в него, не приходится. Лучше сразу же принять методологическое правило взаимодействия с сознанием как с тем, что к жизни конкретного отношения не имеет и – в своей обособленности от нее – ей даже

противостоит.

Добавим, что к сознанию не привыкнешь и с ним не устроишься. Его надо принять. Приходится принимать.

Вместе с тем через приобщение к сознанию мы обретаем своё – личностное – измерение жизни: благодаря осознанию в безличном потоке жизненных явлений человек выделяет значимые именно для него самого жизненные ситуации. В этом отношении сознание можно понимать как нечто своё, чужое по отношению к нашей жизни. Сознание – оно чужое, но во мне. Оно **моё**. Может стать моим при всей никак не устранимой своей странности. Нелепые – со стороны окружающих – поступки человека могут свидетельствовать не только о его экстравагантности или сумасбродстве, но и о вторжении в его жизнь сознания; они могут стать сообщениями о мотивированности его жизни сознанием. Наряду с этим, стоит осознать, т. е. принять в сознание, опыт нашего столкновения со странностью, как и понять участие странностей в нашей жизни, вносящих некий диссонанс в размеренность привычного.

Обратим

*ся к тому несомненному, что фиксируется как собственное «я». И даже если мы говорим о трансцендентальном «я» как о том конструкте, который обеспечивает вменяемость сознания (вспомним, что трансцендентальное «я» – у Канта, например – сопровождает любой наш акт мысли), то даже в этом случае мы все равно апеллируем – пусть не совсем явно и открыто – к своему собственному, вполне личному «я». То есть к тому «я», которое, прежде всего, действует, стремится, гневается, чем-то озабочено и занято. На этой нетематизируемой, повседневной и привычной самоданности нашего «я», по сути, базируется любое «трансцендентальное рассуждение», даже то «летающее» в эмпириях философской фантастики рассуждение, которому предается феноменология. Несомненность *cogito ergo sum*, как и любая стартовая позиция любой дедукции и индукции, имеет свою опору в этой незыблемости и несомненности «эмпирического», личностного «я».*

Кто и когда сомневался в себе самом? Но какая «благодарность» со стороны мысли к собственному истоку несомненности, к той укорененности, которая всегда стоит за «плечами» любого размышления? Разве что Фихте отдал должное «я». А так, что происходит с этим вполне реальным и личностным «я», которое удостоверяет все наши полеты фантазии и строгие научные калькуляции? Прежде всего, осуществляется «кастрация “я”»: «я» становится бестелесным и бесполом. А затем оказывается, что оно – это кастрированное и бестелесное «я» – результат сборки различного рода социальных и культурных машин и механизмов, которые, конечно, нацелены на него, но фактически в меньшей мере обращают на него

внимание,

что странные люди тянутся друг к другу. Вероятно, они находятся в одной среде, являются порождением одной силы и связующими элементами одной энергии. Речь здесь идет о сознании.

Отметим, что неуместность и несвоевременность можно понимать в двух отношениях. Во-первых, в качестве того, что выглядит неуместным и несвоевременным, но таковым в действительности не является. Во-вторых, встречаются и действительная неуместность и действительная несвоевременность, обнажающие **иные** начала в нашей жизни, никак не совпадающие с тем, по отношению к чему они выявляют свою странность.

С неуместным и несвоевременным трудно, ибо они не вмещаются в места и времена жизни. Но, преодолевая трудность взаимодействия с ними, можно понять, что вносимый их присутствием диссонанс позволяет задуматься: не свидетельствует ли это об ином месте и ином времени по отношению к жизни, и, может быть, эти странности напрямую связаны с «жизнью» сознания?!

Стоит осознать, что неуместность и несвоевременность в состоянии скомпрометировать любое место и любое время, попадая в которые человек обрекается на странствие и становится странником по отношению к местам и временам своей состоявшейся жизни. Взаимодействие с неуместностью и странностью помогает человеку отстраняться от всего, во что он себя вкладывает, т. е. отстраняться от любого жизненного содержания.

Важно уловить и схватить проблему основания – проблему основания своей жизни сознанием. Основательным для каждого из нас будет то, что выделено сознанием и связано его посредством с нами. И потому сознание может пониматься в качестве условия, процедуры и специфического устройства по переводу безличных и не своих жизненных ситуаций человека тогда, когда он прибегает к сознанию, именно в **свои** ситуации. Так

рождается своё; рождается моё и твоё,

рождается самость. Но почему тогда она, эта самость, не родилась тогда, когда мы первый раз вдохнули воздух этого мира, увидели в первый раз нестерпимый блеск света? К себе нужно еще прийти, нужно еще найти себя. Нащупать собственный путь можно, пройдя тысячи дорог. И эти, не наши дороги, по которым мы ходим вокруг да около нашей тропы, лишь выполняют роль «негативной теологии». Мой путь – это не этот путь, он – не тот путь. И лишь однажды – если это вообще случается – мы нащупываем свое. Но тогда несомненность того «я», к которому мы постоянно апеллируем и которое выступает «молчаливым» основанием любой предельной рефлексии, не столь уж несомненна. Если бы это было так, то нам не нужно было бы пройти столько дорог, чтобы, наконец, оказаться в том месте, где начинался наш путь. Но это случится только тогда, – счастливы и благословенны, видимо, те, кто сразу вступил на свой путь, но их ой как немного, – когда мы начинаем видеть чужое, обрисовывающее свое. И это обретение своего происходит лишь тогда, когда мы сравниваем,

когда мы рассуждаем

о жизни какого-то человека, то факты его жизни связываются именно нашим к ним отношением, при этом одни мы пропускаем мимо, а на других акцентируем свое внимание. Исходя из такой проекции понимания, постепенно образуется некая устойчивость восприятия, выступающая уже в качестве субстанции, зачастую отождествляемой сначала с пониманием рассматриваемой жизни, а потом и с самой жизнью того, кто рассматривается.

Для самого наблюдающего его **отношение** к чему бы то ни было, включая и другого человека, крайне важно: такое отношение многое объясняет и непременно как-то «срабатывает», несмотря на то что в составе такой «субстанции» могут встречаться построения, откровенно связанные с предубеждениями и мифами. Однако за пределами нашего отноше-

ния, в частности касательно рассматриваемого нами человека к самому себе, такая субстанция восприятия недействительна.

Человек всегда занимает свое место и находится в своем времени, даже не зная об этом. Поэтому обычно места и времена разных людей не совпадают и не пересекаются между собой; если некоторое их взаимодействие и происходит, то только косвенным образом. Для того чтобы разные люди увидели одно, должен совпасть горизонт их восприятия. Если это случается, то люди начинают видеть

одно место и одно время

– зона хронотопа, хроно-топоса, улавливающая и о-пределивающая меня. Я всегда здесь и сейчас, но одновременно я – не здесь и не сейчас. Здесь и сейчас – только труп, и это хорошо, слишком хорошо показал Ж.-П. Сартр. Совпадает с собой только мертвец или предмет. Пока мы живые, мы не совпадаем с собой, мы убегаем и от определенности места, и от определенности времени. Особенно времени. То мгновение, которое резервируется за настоящим, ускользает от самого себя, становясь другим, и в этом ускользании обретает свои постоянство и вечность. Человек распластан во времени, удерживая и, одновременно, ускользая от прошлого, будущего и настоящего. Мы – причем «здесь и сейчас» – вспоминаем или мечтаем. Более того, то «здесь и сейчас», которое мы схватываем «неповоротливой» и вечно запаздывающей мыслью, уже давно в прошлом. Самообман, онтически укорененный ситуацией несовпадения и убегания «я» от самого себя, заражает и наше, человеческое время. Прошлое никогда не совпадает с самим собой, и это прекрасно показывают исторические интерпретации, каждый раз запускающие машину «министерства Правды»... а будущее... кто его видел? Ведь мы помещены в лгущие о своей незаблестимости «здесь и сейчас», с которыми мы, вроде, только и имеем

дело

в том, что они начинают рассматривать происходящее на основе одной идеи и посредством одного вида. Эйдос (идею, вид) можно понимать в качестве перспективы развития определенного содержания, когда он удерживает элементы и части чего-либо в некоем «понимательном» единстве. Причем единство этих элементов и частей способно к развитию, а значит – может быть развернуто во внутреннем своем движении.

Заметим, что в обособленности от жизни сознание можно уподобить некоему абсолютному горизонту, в границах которого нет и не может быть ничего неосознанного в принципе. Этим устанавливается определенность, в соотношении с которой жизнь получает осмысление, а факты жизни понимаются в качестве событий. Поиск смысла твоей жизни в действиях других людей бесперспективен как раз по причине отказа от осознания своей жизни. Человек же не может обойтись без смысловой перспективы. В ситуации исчезновения смысла жизнь подвергается деструкции.

Смысл организует состав существования человека, придавая возможность развития этому существованию и создавая ему целевую перспективу.

Два «маркера» человеческого, слишком человеческого – смысл и цель. Без человека – нет смысла и нет цели. И наоборот, где мы можем обнаружить или предположить следы наличия цели и смысла, там мы склонны искать (и, конечно, находить, ибо если человек что-либо ищет, он обязательно либо найдет, либо найдет, но «потом», либо «вообразит», что нашел) присутствие человека. Конечно, телеология как таковая «по-видимому» свой-

ственна живому, так же как цель, пускай и нетематизированная, незафиксированная цель. Но там, где есть человек, всегда есть цель и смысл. Можно образно сказать, что то, к чему «прикасается рука человека», сразу инфицируется целью и смыслом. Мы вообще не можем существовать в бессмысленности. Не случайно Фр. Ницше особо оговаривал, что «шкалой силы воли может служить то, как долго мы в состоянии обойтись без смысла в вещах, как долго мы можем выдержать жизнь в бессмысленном мире...»⁴. Только самые сильные способны перенести мир, лишенный осмысленности, только они могут взглянуть в пустые зрачки лишнего смысла мира, посмотреть на него объективно. **Объективно – это та ситуация, когда меня нет, когда я умер.** Остальные определения объективности – ложны. Объективность – это и есть бессмысленность и бесцельность, которые человеческое сознание выдерживает разве что в гомеопатических дозах, да и то речь чаще всего идет об «абстрактном рассуждении», т. е. рассуждении, лишенном жизненной укорененности.

А потому смысл и цель – исходные экзистенциалы, согласно которым выстраивается наша забота. Та забота, которая конституирует наш мир, а «потом» наше «я» и внешний, по отношению к «я», мир действительности. Именно потому что дело касается самого фундаментальнейшего, мы и «заражаем» смыслом и целью все, что «апостериори» может тематизировать наше

сознание

так устроено (вопросы «кем» и «чем» оставим без ответа ввиду того, что мы так устроены, что не можем теперь уже, когда спрашиваем, освободиться от сознания и дистанцироваться от него вовне), что сознания разных индивидов не могут быть объединены. Если они и понимаются в некоей взаимосвязи, то это – взаимосвязь **разного**; взаимосвязь, построенная на разрывах.

Если сознание и случается, то мы сталкиваемся с ним целиком и сразу, т. е. в **полной** мере, или не сталкиваемся с ним вовсе. Узнавание и опознание сознания к самому сознанию имеет то же отношение, что и фигура человека к его тени, т. е. отношение копии.

Мы узнаем сознание как нечто уже нам известное,

и это парадоксально как парадокс-прыжок отчаяния у Киркегора, когда мы осознаем не только свое отчаяние, но и то, что вся наша жизнь была в прогрессии в прошлое причастна этому отчаянию. Так и сознание предстает внезапно как то, что есть, и показывает, что вся наша жизнь до того была причастна этому сознанию. Причем настолько причастна, что мы не можем уже сказать, когда его не было, пробрасывая его присутствие вплоть до самых ранних наших воспоминаний детства. И тогда сознание предстает как неустранимое, оно постоян

но,

странность чего всегда присутствует при таком опознании. Вероятно, опознание сознания происходит в момент, когда оно побудило нас к познанию, но уже нас «произвело» и... оставило. Не удивительно поэтому, что, втягиваясь в жизнь и в намерения в ней как-то состояться и устроиться, мы **отстраняемся** от сознания, стремясь прибегать к нему от случая к

⁴ Ницше Фр. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., «REFL-book», 1994 С. 277.

случаю, но в действительности нам не удастся и этого. Сознание не терпит потребительского отношения: в этом случае мы из него выпадаем или, точнее сказать, от него отпадаем.

Устраиваясь в жизни, мы сознания избегаем. «Превращение» фактов жизни в факты сознания позволяет нам, напротив, как-то устроиться в сознании, оставляя жизненные переживания. Понятно, каждый из нас как-то устраивается в своей жизни, но здесь надо особо выделить то, что такое «устроение» важно, если речь идет не о самой жизни вообще, а именно о своей – осознаваемой самим человеком – жизни. Посредством сознания жизнь рассматривается не только по линии ее «течения», но и в **иных** ракурсах и в **иных** перспективах.

Важно понимать, что сам выбор жить сугубо своим, с позиции социума, может быть объявлен глупостью, тогда как принесение в жертву своего способно восприниматься нормой. Здесь мы сталкиваемся с противоречием субъективности и объективности, посредством которого реализуется двойственность нашей жизни, когда без сознания наша жизнь не может стать жизнью и распадается на хаотический конгломерат бесчисленных составляющих. И если объективное не встречает никакого препятствия на пути своего развития в виде субъективности, то маховик существования раскручивается все быстрее и быстрее, а в жизни человека исчезает своё. Иными словами, человек отчуждается от себя.

Однако, с другой стороны, если мы живем сугубо своим, замыкаясь в себе, то основания для формирования социального – общего с другими людьми – поля нет. Вот человек и становится ареной борьбы двух начал – борьбы субъективности и объективности, когда, выбирая только одно из начал и отказываясь от другого, он рискует многим. Иначе говоря, каждый человек периодически отмечает в себе того, кого он не может принять в качестве своего, и сталкивается с присутствием в себе другого, который с ним не совпадает. Отказавшись от двойственности и сосредоточиваясь исключительно на одном полюсе своей сущности, человек закрывает себе путь к другой своей «половине». Другое в себе можно открыть, отказываясь от состоятельности себя в прошлом. Мириться же с отказом от **прошлого** способен не каждый, ведь здесь неизбежно испытание разочарованием, которое может испугать не только неискушенного, но и опытного. Снятие чар – всегда большая

процедура

об-устройства, как настроенность настроением, но если второе про-исходит как экзистенциал, настраивая настроением «тональность» нашего мира, делая мир захваченным нашим настроением, то об-устроенность выстраивается, т. е. предстает перед нами как вполне временной процесс. Настроенный настроением мир переменчив, как переменчиво настроение. Обустройство этого переменчивого мира, меня как задающего меру и дрейф этой переменчивости, нахождение себя и своего, демаркация чужого и должного... Это постоянный процесс: процедуры обустройства уже не просто «раскрашивают» данности, но пытаются их изменить, подстроить себя под окружение, а окружение под себя. Превратить этот процесс невоз-

можно

сказать, что возможны два направления внутреннего движения: уход человека в себя и уход его от себя, причем для каждого из них характерна своя логика и своя идеология. В себя человек попадает, отвлекаясь от того, что к нему непосредственного отношения не имеет. С таким, обретшим свое место и свое время, человеком не просто совладать путем социального давления.

Но если все социальные институты дают сбой и человек не может на них опираться, а на себя опереться оказывается не способным, он начинает бежать от себя «со всех ног»,

связываясь «с головой» в любые действия. Он полагает, что таким образом сбежит от себя, но, конечно, не сбегает, а только утомляется, однако от усталости и растрат он не умнеет.

Здесь к месту будет заметить, что двойственность жизни проявляет себя во всем: любое дело, как и любая мысль, сразу же «обрастают» своими двойниками. Но если из дела как такового и из мысли как таковой человек «выбирается» всегда сам, на свой страх и риск, то из двойников выбраться почти невозможно по причине их онтологической несамостоятельности и несостоятельности. Связывая себя с двойниками мыслей и дел, мы запутываемся в себе, становясь дезориентированы внутренне.

Очень трудно принять принципиальную двойственность нашей жизни, допуская самостоятельность разных начал. Всегда как-то хочется все спрямить и исправить; хочется свести двойственность только к одному началу и расположить жизнь в параметрах не исчезающей ясности знания.

Дело не в том, что жизнь наша не познаваема и не понимаема. Напротив человек принципиально может познавать и понимать себя. Однако понимание и познание не могут быть однозначными, и в этом смысле некоторая чуждость человека себе не может исчезнуть. Иначе говоря, мы способны познавать себя, однако ввиду невозможности пережить себя, мы не можем познать себя полностью и всецело. Все дело в том, насколько мы готовы соотнести себя с разным и готовы ли мы признать **своё в разном**.

Обычно отношения с одним из начал нашей жизни воспринимаются в качестве определяющего. Трудно бывает удержаться от намерения отождествить все с одним основанием и фактически отстраниться от другого. И если мы идем на это, то получаем – в ответ на наши намерения – «двойника» выбранного нами начала. По мере дальнейшего развития мы сталкиваемся еще и с возрастанием количества двойников: по отношению к душе таким двойником становится тело; к сознанию – жизнь; к индивидуальному – социальное; к субъективному – объективное.

По-видимому, от двойственности и не нужно избавляться, а стоит открыть себя ей. **Целое**, с которым мы сталкиваемся, требует от нас целостного к себе отношения. Мы же всегда пребываем в **частичном** освоении целого, когда относимся к двойственности нашего существа на основании игнорирования одной его части. Добавим, что целое сохраняет себя до тех пор, пока сохраняется баланс внутренних противодействий.

Надо понять, что столкновение с целым мы испытываем постоянно, хотя не замечаем этого. Чтобы впустить целое, человеку приходится отказываться от частного, причем идти на последовательный и постоянный отказ от этого. Наше обычное отношение с целым выстраивается на основе указания на него как на нечто, стоящее за конкретным. Целое, таким образом, понимается в качестве некоего мыслительного горизонта или мыслительной перспективы, в результате чего создается иллюзия возможности замкнуть такой горизонт или перспективу, выразив в качестве определенного понятия или совокупности понятий.

С одной стороны, в ситуации взаимодействия с отдельным человеком привыкает относиться к целому как к некоторому качеству отдельного «жизненного» количества, если только ему не удастся реально пережить опыт столкновения с качеством как таковым. Однако, с другой стороны, следует заметить, что человек не может обойтись без стадии фиксации целого и только потом, утрудняя свой взгляд и слух и усложняя свои осязание, обоняние и вкус, выделяет в целом особенное. Мы принципиально можем воспринимать мир только «порционно», т. е. сталкиваться с ним не иначе, нежели как с не расчленяемыми единствами целого.

Иначе говоря, то нам «много» целого, то нам его «мало». И в результате то мы организуемся, связывая себя с анализом целого путем его расчленения и сочленения по нашим собственным правилам, то, напротив, принимаем целое, ослабляя свою организационную хватку.

Двойственность проявляет себя в том, что человек вдруг теряет свой мир, когда начинает выстраивать свои с ним отношения на основе принципиальной возможности его освоения посредством, например, обращения к технике. В этом контексте свой мир понимается уже несамостоятельной силой, которую человек может использовать в своих интересах. Будучи субъектом такого освоения, он последовательно относится к своему миру как к источнику получения таких дивидендов, как энергия, ресурсы,

информация

– «бренд» современности. Сколько было сказано и – о, ужас – будет сказано об информации! Информационные потоки, информационное общество, информационные системы, средства массовой информации... и т. д. и т. п. Наверное, в «частотном словаре» современности лидером как раз и будет слово «информация». Скажу прямо: не люблю (это я мягко выразился) это словечко. И не только по причине его массивированного присутствия в современности. Конечно, довольно широкое распространение показательно. Но то, что выпячивается в массовом и бездумном употреблении, проясняет ли суть дела? Скорее всего, нет. Сущностно то, что прячется и не проговаривается. А потому говорить об информации в этой бездумности можно сколько угодно долго, не проясняя сути проблемы, и этот разговор свидетельствует в большей мере о том, что подлинный разговор об информации как раз еще не состоялся.

Согласно определению Норберта Винера, информация есть везде, где наличествует различие. « $A=A$ » – не информация, тогда как « A есть B », где объем понятия A не совпадает с объемом понятия B , является информацией.

Теперь подумаем, а есть ли что-либо в этом мире, что не было бы информацией? По большому счету, даже неинформационное по причине своей тавтологичности « $A=A$ » в постоянно изменяющемся мире способно включиться в информационный контекст и стать, соответственно, информацией. Это же касается чего-нибудь неизменного, что в своем постоянстве выпадает из «информационного поля»: в изменяющемся мире неизменность также изменяется, поскольку включается «новыми сцепками» в изменяющийся контекст.

Сделаем один шаг в сторону, чтобы легче было понять ситуацию с тотальным «пресингом информации». Как проще всего сделать так, чтобы уничтожить миллионеров? Отнюдь не революцией или экспроприацией. Нужна просто стремительная инфляция, в результате которой все станут миллионерами, а возможно, даже миллиардерами. Немного больше десятка лет назад в России этот процесс был налицо. Но и сейчас в некоторых странах есть триллиардеры, влачащие нищенское существование. Миллионер – как символ – должен быть «редкой птицей», но когда их тысячи, то миллионер как символ-знак упразднен.

Так и с информацией. Тотальность информации уничтожает информацию. Если все – информация, то информация – ничто. Любое сущее в своей определенности нуждается – а тем более информация, «играющая» на дифференции, – в ином. Но если иного нет, то сущее, лишенное грани-границы, как таковое упраздняется. Это прекрасно понимала античная мысль, для которой космос – ограниченный, т. е. определенный, «вформованный» в свои границы-границы хаос.

Мир, в котором царствует информация, – это мир, где позиционируется отсутствие феноменальности как таковой. Поясню. Информация «в идеале» – это нечто «объективное», т. е. то, что существует вне зависимости от меня, более того, она, информация, должна быть тождественной как в моем присутствии, так и при моем отсутствии или в присутствии моей уже свершившейся смерти. Информация – объективна, а потому она

всегда там, где я ничего не значу, где меня нет. Именно по этой причине не надо обольщаться: если слоган «Информация – это все» верен для нашего мира, то это относится к тому миру, в котором для меня места нет, т. е. меня попросту нет. Есть лишь риторика и машины, которые форматируют меня под информационные потоки.

В этом информационном мире акты конституирования, осуществляемые нашим сознанием, заменяются потоком информации, т. е. информационным потоком, выстроенным с помощью бинарного кода. Как системе «чистых» различий, информации наиболее адекватен именно бинарный код, используемый в современных компьютерных технологиях. А потому использование бинарного кода в современных компьютерных программах – не просто «технологическое удобство»; оно сущностно. Как раз данная бинарная кодировка – «безчеловечна», и именно поэтому я говорю, что в выстраиваемом современностью информационном пространстве место человека, «человеческого, слишком человеческого», оказывается под сильным нигилирующим воздействием.

Рассмотрим простой пример, который покажет нам «отсутствие» фигуры человека в современном информационном пространстве.

Возьмем простое предложение «Поток нулей и единиц – не более» и посмотрим, как оно выглядит в «информационном виде», т. е. записанное не с помощью «обычных слов», бережно хранящих человеческое присутствие, но в кодировке, скажем, windows-1251. Указанное предложение будет выглядеть следующим образом:

```
11001111110111011110010111011101101010001000001110110111
110011111010111100101111010010010000011101000001000001110
010111100100111010001110110111101000111011000100000100101
1000100000111011011100101001000001110000111011101101011
1110010111001010000110100001010
```

Не будем сейчас задаваться вопросом о числе, которое используется в этой системе, ибо в тех «математиках», где нуля не существовало, такой «кодировки» в принципе быть не могло, например в античной геометрии и алгебре. Просто посмотрим на поток нулей и единиц: вот она, «чистая» информация, информация в чистом виде.

Не нужно углубляться в суть вопроса об информации, чтобы на основании даже приведенного примера понять, что она как таковая, в своем «чистом» виде, «неперевариваема» для человека. Нужны процедуры конвертации и перевода на «человеческий язык». Иначе говоря, нужны определенного рода «интерпретационные» механизмы, способные передать «объективный» смысл предельно «субъективному» человеку. Причем сам процесс «перекодировки»/ интерпретации – дело всегда сомнительное, поскольку указанная последовательность единиц и нулей может быть проинтерпретирована по-разному. Приведенный только что пример – это пример кодировки предложения в windows-1251251. Но мы знаем: в компьютерном мире существует несколько кодировок. И то, что в указанной кодировке windows-1251251 данный поток нулей и единиц может быть интерпретирован как предложение «Поток нулей и единиц – не более», в другой кодировке может означать бессмысленный набор символов, фрагмент музыкальной фразы или фотографии. Наконец, самый простой вариант – может просто репрезентировать самого себя, т. е. поток нулей и единиц...

Но вот в чем еще загвоздка: переформатированное в бинарный вид уже невозможно «перекодировать» обратно, разве что в режиме симуляции. Прекрасной иллюстрацией этого служит любая оцифрованная картина. Даже при «бесконечно» скрупулезном и мельчайшем разрешении «аналога» на мониторе, мы все равно не получим ту же самую картину, но лишь ее симуляцию ...

Об информации можно говорить много... очень много...

И действительно, о ней много говорят... Но что это означает? Если мне постоянно и ежечасно пытаются повторить что-то, то я начинаю подозревать, что используется давно испытанный прием: ложь, повторенная тысячу раз, пытается стать правдой. Повторенный и перепетый на тысячи ладов и голосов разговор об информации утаивает то, что о сути информации не сказано ничего.

Нет анализа той процедуры подсчета, которая запускает уравнения бинарного потока, нет размышления о том статусе и смысле различий, которые служат основаниями для разбиения реальности на мельчайшие блоки, подлежащие впоследствии «конвертации» в бинарный вид...

А что в этих разговорах присутствует?

В них мы видим лишь риторику веры, безосновной и, возможно, беспочвенной веры в то, что все так просто и однозначно, что можно представить мир в системе уравнений и классификаций... В этих разговорах находит свое алиби вера в прогресс, в науку, в современный тип политики, в человека, в субъективность, в буржуазную свободу. Иными словами, в этих разговорах просвечивает лишь вера во все те «игрушки», в которые играет современное «информационное» общество...

Но от того, что в современном мире стала править определенного типа рациональность и подсчет – т. н. «магия белого человека», – наш мир не стал более прозрачным и подчиненным контролю. Мир таинственен и непредсказуем, несмотря на все усилия, все повторы и риторические заклинания, которые прикрывают, возможно, наши беспомощность и ужас перед подлинной реальностью. Той реальностью, с которой мы пытаемся совладать, прибегая к потоку слов и риторическим возгласам, тиражируемым массовой культурой.

А он, наш мир, не стал от этих научных и информационных заклинаний менее таинственным, менее

непонятым

остается то, что, наряду с явным, есть и неявное. Не понято то, что, помимо содержания энергии, ресурсов и информации, есть и сам **мир**, в это «содержание» не помещающийся.

Техника в этом контексте понимается в качестве своеобразной замены и подмены, когда в стратегии освоения **своего мира** человек сталкивается уже не с ним, а с техникой, позволяющей ему брать, изымать и удерживать различные содержания мира. Точнее, он сталкивается с перманентным несовершенством техники и необходимостью соответствия ее своим задачам.

Двойственность оказывает на каждого из нас устрашающее воздействие, но страх, обнажающий бездну целого, может позволить нам впустить целое в себя. И тогда он, возможно, сменится покоем – покоем мира.

Страх перед целым, которое вдруг становится явным и предстает вдруг смотрящим на нас, понятен. Однако понятно и то, что пока человек не преодолеет свой страх перед двойственностью реальности, то обязательно будет стремиться ее как-то организовывать, навязывая ей некие концептуальные «развороты».

Человек испытывает страх перед распадом подконтрольной себе территории и подконтрольного себе времени, когда размеренность его отношений с миром и с самим собой вдруг оказывается под вопросом. Стремясь вытеснить или хотя бы оттеснить непонятные ему части мира и своего существа, человек непременно обращается к знакомому.

Это совсем не значит, что таким путем можно избавиться от своего – себе же непонятного: скорее, его можно оттеснить в некий «дальний» угол. Но угол-то этот – это часть

нас самих со всеми вытекающими отсюда последствиями! Непонятое нами не исчезает: оно «живет» странной жизнью, которая смутно напоминает нам о себе в захватывающих нас настроениях, проявляющихся как в сумбуре чувств и переживаний, так и в хаосе мыслей, связанных с резкой сменой настроения. Человек воспринимает целое по частям и стремится связать непонятную ему природу целого узлами разных построений, однако надо приучить себя к тому, чтобы хотя бы иногда оставлять странность **странностью**.

Человек сегодня запутан, и запутан так, что ему трудно распознать своё. Трудно разобраться в себе, остановиться, пережить опыт одиночества и попасть в себя, ибо он сталкивается с десятками чужих настроений, которые пытается к себе примерить и применить.

Настроение всегда открывает нечто, задавая перспективу отношения человека к миру. Даже не осознавая в полной мере, но предчувствуя и предвосхищая понимание того, что все настоящее – то, что стоит и можно понимать всерьез, – связано с самодостаточностью, которая только и способна придать ему силы, человек пытается опереться на то, что его самого захватывает и превышает. Мы и относимся к миру, исходя из овладевающего нами настроения: когда нам плохо, то белый свет не мил; когда же хорошо, то и мир мы воспринимаем как дар, т. е. как то, что нам что-то способно

дарить

и ждать возврата дара – наш наивный прагматизм, пропахивающий издревле то пространство, которое можно маркировать как культура. Система «дар-отдаривание» означает один из самых мощных и важнейших «архетипов» человеческого сознания. Подобно тому как мы «размещаем» чувственные даты в пространстве и времени (И. Кант), мы выстраиваем наш мир как «подчиняющийся» системе уравниваний. Если есть причина, то есть ее действие и следствие этой причины, если есть поступок, то есть его возмещение-воздаяние, мир как система кармы и т. д. и т. п. На основе этого «архетипа» осуществляются не только попытки описать универсум с помощью математического уравнения, но и разбиение и удержание социального пространства: мораль, религия, наконец, философские системы... Можно упомянуть два довольно ранних фрагмента, где тематизируется этот «архетип».

Первый пример взят из наиболее известной части Махабхараты, а именно «Бхагаватгиты» в переводе. Перевод с санскрита С. Липкина.

«Приняв эти жертвы в небесном чертоге, За них наградят вас довольные боги, – Иначе предстанут пред вами ворами, Когда на дары не ответят дарами!»⁵

Сошлемся и на другой, не менее значимый текст, правда, он ценен, скорее, для нашей европейской традиции. Речь идет о знаменитом изречении Анаксимандра:

«А из каких [начал] вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [ущерба] в назначенный срок времени»⁶.

Я не буду сейчас проводить текстологический анализ приведенных фрагментов или заниматься их толкованием. Многие это сделали и сделают гораздо лучше: одна интерпретация М. Хайдеггера чего стоит! Для меня сейчас важно следующее: и в первом, и во втором текстах мы видим фиксацию указанного «архетипа», причем в предельно ясном и тематизированном виде. Правда, тематизирован этот «архетип» и в первом, и во втором случаях как космологический принцип. Даже боги вынуждены соблюдать принцип отда-

⁵ Бхагавад-Гита (избранное). Стих 3.12 Самиздат, 2007. С. 16.

⁶ Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. С.127.

ривания, хотя, как известно, богам человеческий закон – не императив для их поступков. Во фрагменте Анаксимандра, уже в менее теологическом виде (и не случайно именно с него европейская философия начинает свою биографию), принцип «отдаривания» выступает как сущностный принцип бытийствования любого сущего. Система дара и отдаривания, иначе говоря, система равновесия и уравнения/уравнивания, – это формирующая структура, выстраивающая наш мир. Именно в согласии с этим «архетипом» мы ждем и предчувствуем равновесие и равнодействие в мире, обнаруживаем порядок, систему в универсуме, надеемся на воздаяние по заслугам и опасаемся мести возмездия и т. п. Но эти ожидания не базируются на том, что смысл и порядок, уравнение и постоянство и т. п. присутствуют в мире самом по себе, но только на том, что мы изначально, в «момент» первичного конституирования мира в наш мир и «вложили». Нет, увы, нет в мире этого уравнения, особенно в той его части, которая относится к нашей солнечной системе, где, скорее, есть изначальный безвозмездный дар, чем «рефлекс» дар-отдаривания. Усомниться в этом равновесии, равенстве – это не столько «научная» гипотеза, что, понятно, дело особенно в наше время вполне допустимое, но отказ от всей системы человеческих координат, аморализм в высшем своем звучании. В самом деле: почему я должен отвечать за свои поступки? На основании какого «закона» действует принцип возмездия в правосудии? Если мы сомневаемся в данной системе координат, то отсюда, конечно, следует: «Все возможно». Но и, одновременно, из этого усомнения следует и то, что все – бессмысленно, ибо наша реальность, привычная и осмысленная, была инфицирована тем смыслом, который изначально размечен «архетипом» возмездности, воздаяния, уравнения...

И то, что подлецы торжествуют, убийцы становятся церковными иерархами, что чаще богатство и слава приходят не к достойным, а скорее, «наоборот», нас возмущает не по причине торжества «нигилизма» или «аморализма», а потому, что мы в бессилии прозреваем, что все «несколько не так» в нашем мире, как это рисует и приукрашивает нами же «созданный» способ видения и выстраивания нашего мира... Мы не познали еще, не приручили и не уговорили, наконец, то, чем сама по себе является

реальность

воздействия настроений проявляется в невозможности индивида, будь то человек или народ, существенно им сопротивляться, когда он независимо от себя может вдруг увлечься другими настроениями. В таком увлечении он идет на такие траты себя, которые грозят ему даже уничтожением и смертью, и нередко не считается с такими тратами.

Возникая и увлекая человека за собой, одно настроение не позволяет ему увидеть и осознать нечто другое, ибо человек **всегда** в каком-то настроении, но всегда в **одном**. Если он вдруг и замечает иное, то это открывается ему в **ином** настроении.

Стоит признать, что любое настроение, т. е. то, что мы испытываем в качестве как-то настраивающей нас силы (а не испытываемого и не переживаемого нами настроения мы как такового не признаем и признать не сможем), всегда способно увлечь нас за собой. Вот почему проблема выявления своего непростя и требует внутреннего сосредоточения.

Человек пытается найти себя в ситуации, когда в пространстве и времени его жизни всегда дуют ветры разных настроений, каждое из которых способно подхватить и увлечь его за собой. Это – исторические настроения наций и народов, настроения эпохи, настроения близких и далеких нам людей. Вполне возможно, что многие из них, будучи примеряемы нами на себя, скорее, скроют от нас своё, но не откроют нас ему. Предельная собранность, т. е. собранность человека в себе, в этом случае замещается собранностью его в ином структурном поле. От такого – не своего – настроения стоило бы скорее избавиться, ибо оно собирает нас не в своей определенности, а за пределами себя.

Вышесказанное можно попробовать осмыслить и в ином ключе. Проблема двойственности нашей жизни непреодолима по причине того, что дело осознания себя нам никогда не удастся закончить. Сознание – вещь принципиально не снимаемая: оно всегда заканчивается только под давлением жизненных обстоятельств, т. е. извне самого сознания.

Двойник – это всегда производная нашего сознания, помещаемая нами в жизнь: сначала есть мысль, а только уже потом возникает ее двойник. Двойственность выявляет себя в ситуации «пересечения» фактов сознания с фактами жизни, когда первые располагаются человеку внутри области его жизни. Следы такой двойственности повсеместны. Одним из них становится наполнение своей жизни артефактами, которые образованы именно не жизнью, а ее осознанием. Вот почему без двойников обойтись трудно, однако сделать это необходимо.

Занимая себя заботами по обеспечению условий существования, оказываешься в ситуации явного расширения места своего обитания при не менее явном сужении времени своей жизни. Причем при росте забот, связанных с обустройством мест существования, расплакиваешься не только уменьшением своего времени, но и утратой своего внутреннего места. Человек может к себе и не вернуться. Многие, впрочем, и не возвращаются.

В случае ухода от себя человек оставляет своё и «с головой» погружается в работу и процессы, строящиеся не на его собственных, а на социальных основаниях. Вернуться к себе становится все труднее, ибо такой человек легко управляем извне себя: без чужого он не может, а своего не знает. Значимо **отношение** человека к **себе**: именно в его нехватке и незнании себя суть дела.

Мы можем соединять факты сознания, прибегая к жизни. Обычно мы так и поступаем. Поступая так, мы все еще находимся в плену забот, которые предваряют работу сознания. Однако можно попробовать сопоставлять факты сознания на основе отнесения их к самому сознанию. И в этом случае это будет другая реальность. Причем история соединения фактов сознания на основе их перевода к жизненным ситуациям будет радикально отличаться от истории соединения фактов сознания на основе сознания. В первом случае над человеком довлеет жизнь, и он, испытывая такое давление, приучается к потребительскому отношению к сознанию, а то, что понимается под историей, сильно детерминировано жизнью. Во втором случае он не может не считаться с сознанием и, принимая его силу, начинает размышлять о прямом воздействии сознания на свою жизнь, прибегая, например, к образу судьбы. Тому, кто стремится жить вне сознания, этот образ неизвестен.

Разумеется, уже потом – после того, как, прибегая к силе сознания, человек апеллирует к образу судьбы, – его отношение к судьбе может меняться. Так, выстраивая свои отношения с сознанием, человек открывает свою судьбу: при продвижении по пути сознания и восприятии фактов жизни исключительно в качестве трамплина и основания для того, чтобы перейти к фактам сознания, человек оказывается вне судьбы. Теперь уже, когда он преимущественно живет сознанием и для сознания, ему этот образ не нужен.

При расположении в фактичности сознания и если и не в полном освобождении от влияния житейских забот, то в получении «передышки» путем попадания в место и время, которые с этими заботами явно не связаны, человек приобщается к полноте сознания и его избыточности. Это позволяет ему пройти процедуру своеобразного «очищения» и попасть в то, что связывает разные – по своему генезису – содержания существования в события одной – именно **своей** — жизни. Сознание соотносит разное в настоящем. Оно связывает все в одном, включая наши поиски настоящего и наши попытки борьбы с ним.

Можно сказать и по-другому. Появляясь в некоем месте, мы не знаем, чьим – до нашего в нем появления – такое место было, как и не знаем, что мы в это место привносим. Но если прибегаешь к процедурам, привносящим в это место силу иного места – силу сознания, то место «очищается» от того, что было до нас; до нашего присутствия в этом месте.

Сознание можно уподобить «механизму», который осуществляет перевод субъективного в объективное. Это можно проследить на примере

отношения человека к прошлому

– довольно запутанная «история». С одной стороны, обращенность к прошлому, его удержание в памятовании – то, что обеспечивает не только любую мысль и рассуждение, но и идентичность «я». Не случайно А. Шопенгауэр определял тупость как недостаток памятования, удержания прошлого в настоящем: без обращенности к прошлому, без его постоянного воскрешения было бы невозможно мышление. А об удержании идентичности без памятования себя в прошлом – вообще пришлось бы «забыть».

Но, с другой стороны, сохраненное и застывшее прошлое, оказывающееся в настоящем, обращенность в прошлое – ставят не меньшие проблем.

Запутанная история... История, кстати, всегда о прошлом, и одновременно, о настоящем и будущем. И это тоже запутанный сюжет...

И дело, конечно, не в том, что «здесь помним, здесь не помним». Мы все находимся в ситуации относительной амнезии.

Но и в отношении «адекватности» удержанного в воспоминании прошлого – не менее запутанный сюжет. Мы, «вроде», в ответе за свое прошлое, ибо в нем «вольно или невольно» принимали решения, действовали, уклонялись от действия и этим действовали еще решительнее... Однако при всей своей связке, сцепке с прошлым, в котором мы были, мы ощущаем груз, нестерпимый груз прошлого и прошлой ответственности, и даже некоторую несправедливость того, что должны нести за него ответственность. Прошлое – тяготит, ибо всегда из горизонта настоящего мы поступили бы лучше, пошли по другому пути, не ошибались и т. п. Но оно, это прошлое, цепко держит нас в «объятых», предрешая наше будущее, захватывая в свои уже «умершие конечности» нашу свободу, свободу быть иным, даже по отношению к своему прошлому. А потому так сладко не «вспомнить все», а лучше «забыть все», чтобы, возможно, начать с чистого листа. Но не тут-то было... Горизонт возможностей с годами, с нарастанием прожитого, т. е. прошлого, сужается. И то, что прошлое все сильнее и сильнее держит нас в своих руках, можно почувствовать на той все сильнее и сильнее сужающейся возможности нового, которая усиливается в прямой корреляции с прожитыми годами. Если перед каждым в юности открыт бесконечный горизонт «кем быть», то с годами «свобода маневра» все меньше и меньше...

Долг перед прошлым – долг перед неизменным. И разве я – 10 лет назад – это «я»? Я – результат довольно прихотливой сборки. Она, эта сборка, – постоянно «действующий механизм». Нельзя «собрать» «я» раз и навсегда. Несовпадение с собой и, как следствие, ситуация самообмана (Ж.-П. Сартр) – лишь иллюстрация «перманентности» процесса. Но почему это каждый раз собираемое «я» отождествляется и несет ответственность за то прошлое «я», которое не менее иллюзорно здесь и сейчас, чем мираж в пустыне?

И вот мы, здесь и теперь, постоянно боремся. Боремся «за» прошлое, чтобы удержать свою идентичность и иметь возможность мыслить... И, одновременно, боремся «против» прошлого, ибо выстраиваемая на основе прошлого застывшая идентичность – это та фактичность, которой обладает «неживое», труп... И независимо от того, хотим мы этого или нет, эту «борьбу» ведет

каждый

из нас живет своими случившимися ранее переживаниями и их как-то для себя объективирует, стремясь в них разобраться. Когда же речь идет об общих воспоминаниях несколь-

ких или многих людей, то происходит конвертация разных субъективностей в некие **объективные** конструкции, становящиеся основаниями разных субъективностей – например, в опыт эпохи. Отходя «в сторону» от таких объективных конструкций, человек теряет свою субъективность ввиду того, что она связана с этими построениями. Теперь он вынужден «определяться» в вопросах «взаимодействия» со своей **субъективностью** самостоятельно. В случае положительного результата и определения новой субъективности возникает уже и новая история: у субъекта формируются новые воспоминания, необходимые именно ему.

Готовность принять сознание связана с возможностью сдвига и отстранения человека от ситуаций и обстоятельств жизни, внутри которых он пребывает, когда жизненные содержания перерабатываются в некий **текст**, становящийся опорой сознательного отношения к жизни, и правила восприятия ее принципиально изменяются. В этом смысле

любой текст – это текст сознания.

Любой жест – это текст сознания. Любой предмет – это текст сознания. Любая картина – это текст сознания. Любая страсть – это текст сознания. Любая жизнь – это текст сознания.

Мы погружены в тотальность герменевтического проекта, расшифровывая и интерпретируя все и вся, и, прежде всего, самих себя. Ибо любое «я» – это текст сознания. С одним, пожалуй, уточнением: все эти «тексты» пишутся «символами», знаками – лишь

периодически

мы попадаем в ситуацию, когда видим, что некто не понимает, казалось бы, очевидных вещей. Однако по мере объяснения осознаем, что он не примет наше понимание, а если и примет, то только частично, чем наше понимание разом извратится или переродится.

Для того чтобы принять нечто от **другого**, надо иметь **третью** точку или **третье** основание, которое не было бы ни твоим, ни его. Таким основанием собственно и становится текст, пусть и тобой созданный, но – по мере его завершения и прочтения другим – перестающий иметь к тебе прямое отношение. Текст этот – такой же твой, как и не твой.

В качестве такого – текстового – основания может пониматься любая дисциплинарная матрица, сформированная на основе определенной региональной онтологии, помогающая понять нечто любому, кто в нее входит. Без текста, как ни пытайся, не обойтись.

Образ, посредством которого воспринимает человек, предшествует восприятию. Такой образ практически не изменяется в качественном отношении, если восприятие удовлетворяет человека. Важно обратить внимание на способы – предельной в своей сжатости и относительной разбалансированности – связи воспринимающего с воспринимаемым, когда дистанция между ними то сходит на нет, то увеличивается. В первом случае обязательно появляются дополнительные процедуры и могут возникнуть новые образы, закрепляющие такую

близость

трудна для рефлексии. То, что вблизи, – не видно. Самое существенное прячется вблизи, и доступ к нему оказывается закрыт. Близкое – как привычное – удалено в своей близости. Отсюда и парадоксальность близости: чтобы приблизить, нужно отдалить, а чтобы отдалить, нужно приблизить. Именно потому самые близкие ближе, когда удалены: постоянное присутствие близких способно разрушить близость. Нужно хоть иногда отдаление, заставляющее близкое стать близким.

Но вот как, если следовать этому парадоксу, приблизить самого себя? Возможно, это приближение самого себя достижимо, если встать в рефлексивную позицию в отношении самого себя. И тогда, благодаря возникшей дистанции от самого себя, мы сами себе становимся ближе. Но именно так мы и поступаем, когда обращаемся к жизни сознания, изолировав свое уникальное, сингулярное сознание от нас самих, нашей жизни, «переведя» его в статус отделенной, а потому чуждой, «абстракции» – сознания меня как сознания вообще.

Укажем на еще один способ удаления-приближения. Речь пойдет об удалении-приближении через отождествление себя с тотальностью истории, когда индивид стремится не собрать свою биографию и свою ситуацию в единстве своего эмпирического «я», но вписать ее как часть в универсальную историю, для которой, как говорил С. Киркегор, индивид – это скандал, который нарушает ее течение своей сингулярной непредсказуемостью. Ибо на самом деле история и индивид, помещенный в эту всеобщую историю, – «параллельны». Действительно, что мне от того, что исторический процесс течет по своим законам, ведь эти законы не определяют – может, самое важное для меня в конкретный момент времени, – кончились ли сигареты в соседнем ларьке или нет... Так же, как ничего не скажет о конкретном индивидуальном будущем статистика, «говорящая», что средний возраст жизни мужчины в России – 57 лет, человеку, которому эти 57 лет исполнятся завтра... Что же ему, имениннику, саван заказывать, руководствуясь «объективными данными»?

Индивидуальное и всеобщее, их соотношение – тоже запутанная, крайне запутанная

история,

будь то история жизни, история чувства или история мысли, – это всегда реконструкция, когда разным элементам придается **единый логический** план. Он предстает в качестве единого горизонта понимания, связывающего разные элементы вместе и придающего им характер события путем их осознания и выделения – посредством этого – из среды жизни. Такой логический план помогает нам выстроить объективную картину мира, где субъективность отделяется от нас сознанием и размещается теперь перед нашим внутренним взором, изменяя свое качество.

История начинается с намерения описать что-либо в качестве объективного процесса. Другое дело, реализуется ли такое намерение и возможно ли оно в принципе. История связана с процедурой придания субъективному характера события, т. е. осознания субъективного и превращения его в объективность сознания. Содержания жизни – благодаря их осознанию – выступают в качестве событий.

Событие «образуется» или «вспыхивает» там и тогда, где и когда факт вырывается из плена жизни за счет его осмысления и в таком «вырванном» из контекста жизни состоянии связывается именно с нами. Этим решается обоюдная задача осмысления жизни и рождения нашей субъективности (проблема «второго рождения»).

Важным признаком события является его уникальность. Человек прерывает многократность повторяемости жизненных ситуаций и основывает новое их понимание путем обращения к фактам сознания. Событие неповторяемо, и если заходит речь о повторяемости каких-либо событий, то она возможна исключительно за пределами самого события.

Акцентируем внимание на том, что **состояния сознания** фиксируют в себе некую «непереводимость» и «неконвертируемость» как в отношении к другим состояниям того же человека, так и в отношении к состояниям сознания других людей. Однако эти состояния могут быть связаны с определенными **фактами сознания**, которые, в свою очередь, могут сопоставляться друг с другом ввиду придания этим состояниям сознания объективированной формы. Для этого необходимо обособить состояния сознания от того, кто их испытывал. Это можно сделать, например, в **тексте**. Понятно, что любая попытка сопоставления созна-

ния отдельных людей не может не быть связанной с отказом от внутренней деятельности, присущей субъективности и выражаемой в попадании ее в отдельные состояния сознания, от которых можно перейти к фактам сознания, но можно и, наоборот, вернуться к фактам жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.